

Генерального штаба генерал-майор
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕРУА

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ II

« Военно-Историческое Издательство « Танаис »

Париж 1970 год

Генерального штаба генерал-майор
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕРУА

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ II



« Военно-Историческое Издательство « Танаис »

Париж 1970 год

Генерального штаба генерал-майор
Борис Владимирович Геруа

« ВОСПОМИНАНИЯ »

(том II)

Военно-историческое издательство

« ТАНАИС »

Париж, 1970 год

Редактор А. А. Геринг

Корректор К. М. Перепеловский

Тираж — 1000 экз.

Фотографии из архива генерал-майора
Б. В. Геруа

Все схемы исполнены В. А. Каменским

Первая Украинская Типография во Франции
3, rue du Sabot, Paris 6^e.

Copyright 1970 by — B. V. Heroys et « Tanaïs »



Борис Владимирович Геруа

В ШТАБЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Вернуться к штабной службе мне пришлось гораздо скорее, чем это можно было предполагать. Два с половиною года в Академии перед войной 1914 г. представляли короткий срок ученой деятельности, едва достаточный, чтобы погрузиться в нее как следует. Я только-только начал входить во вкус научных занятий и складывал в своей голове план следующего печатного труда, уже намечавшегося моими лекциями по тактике пехоты. Было жаль прервать эту работу; быть может, навсегда расстаться с ней. С другой стороны, обстановка в Академии с начала 1914 года резко изменилась, как я рассказывал об этом раньше. Над Академией уже грянул один гром, но грозовая туча не рассеялась и было неизвестно, как, чем и когда она разразится. Весьма возможно, что мне захотелось бы покинуть Академию даже если бы не случилось войны, решившей этот вопрос за меня.

Немедленно после ее объявления, как я уже говорил выше, начальник Академии князь Енгальчев собрал весь учебный состав и объявил нам о роспуске Академии. Слушатели должны были вернуться в свои части. Административный и учебный персонал получал свободу выбора, — куда ехать.

Это решение относительно Военной Академии носило патристический, но торопливый характер. Осенью 1916 года были вынуждены снова открыть Академию, так как обнаружился острый недостаток подготовленных офицеров Генерального штаба. По-видимому, никто не предвидел долгой войны. Генералов пришлось

во второй раз назначать начальниками штабов дивизий, — на полковничьи должности.

Но нам всем, учебному составу Академии, решение отправить нас на фронт было по душе, так как каждый желал принять активное участие в войне с противником, сразиться с которым Россия готовилась в течение десятилетий.

Я записался на Юго-Западный фронт и должен был через несколько дней ехать в хорошо знакомый мне Киев.

Мы с женой спешно ликвидировали свою маленькую квартиру в № 2 по Фурштатской улице, в доме Черепенникова, сделали необходимые для похода закупки, и я отправился в путь в воинском поезде с воинской платформы Варшавской железной дороги. Я получил отделение в вагоне 2-го класса, где в числе других офицеров ехал на юг муж Великой Княгини Ольги Александровны Куликовский.

Мой вестовой, данный от Академии, с легко запоминаемой фамилией Пушкин, погрузился с нашими лошадьми в товарный вагон в том же поезде.

Жена с детьми спустя некоторое время переехала из окрестностей Петергофа, где она жила на даче (в имении Знаменка Великого Князя Петра Николаевича), в Кишинев, к брату Михаилу Эдуардовичу.

В Киеве я и Сергей Леонидович Марков, преподаватель Академии, ехавший со мной из Петербурга, застали штаб фронта в начале организации в помещении дома генерал-губернатора и Командующего войсками — генерал-адъютанта Иванова, теперь ставшего Главнокомандующим. Начальником штаба у него был хорошо нам знакомый по ученическим годам в Академии бывший профессор Михаил Васильевич Алексеев.

Марков, как оказалось, был предназначен на должность начальника разведывательного отделения. Я — на должность начальника оперативного.

Но Марков вступил в исполнение своей должности, а я нет. На 24 часа раньше нас приехал из Главного Штаба полковник Павел Павлович Лебедев («рябой», по прозвищу) и был назначен начальником оперативного отделения. Мне объяснили эту перемену срочностью и моим опозданием.

Только одно отделение оставалось незамещенным:

цензурное. По степени важности оно находилось на противоположном полюсе сравнительно с оперативным.

Но делать было нечего. Я вступил в управление этим отделением, в котором никого, кроме меня, не было.

Генерал-квартирмейстер генерал-майор Пустовойтенко, о котором я до того никогда не слыхал*) и который до войны занимал должность начальника штаба пограничной стражи Киевского округа, предоставил мне самому найти себе помощников.

Я решил задачу просто: был конец июля, Киев был полон офицерами, призванными из запаса. В своих прапорщичьих погонах и новеньком снаряжении, они тоскливо слонялись по улицам, ожидая распоряжений от штаба тыла, — куда им отправиться.

Идя из штаба фронта, по Липкам, в штаб тыла, помещавшийся в здании штаба округа, я встретил двух таких «прапоров». Один был высокий, полный, румяный, с добродушным выражением на круглом лице. Другой — плотный и короткий, с маленькими светлыми усами и острыми глазами. Оба мне «козырнули», а я остановил их.

Кто они и куда назначены?

Матвеев и Осипов. Не имеют пока никакого назначения.

Откуда и чем занимались?

Первый — бельевым делом в Москве. Второй — журналист и репортер из Петербурга.

Эврика! сказал я себе. По меньшей мере один вполне подходит для цензурного отделения. Тут же я сделал Осипову предложение поступить в него моим помощником. Но как быть с Матвеевым? Симпатичная наружность; но в какой мере бельевая торговля готовит к цензуре?

*) Из воспоминаний А. С. Лукомского я узнал, что на эту должность предназначался по мобилизации он, но в последнюю минуту его не пустили с должности начальника канцелярии военного министерства, очистившейся с отъездом на фронт «рыжего» Данилова. Случай уберег меня от новой служебной встречи с Лукомским. Но и он не примирился бы с тою пассивною ролью, которую Алексеев отводил своему генерал-квартирмейстеру.

Из моей заминки выручил меня Осипов.

— Я с удовольствием возьмусь за эту работу, но разрешите мне попросить вас взять на службу также и Матвеева. Мы с ним сдружились и хотели бы служить — где бы ни пришлось — вместе.

Мне нравилось лицо Матвеева и понравилась эта товарищеская просьба Осипова.

В какие-нибудь десять минут штаб тыла передал этих двух молодых людей в мое безоговорочное распоряжение.

На другой день я их представил начальству и мы начали работу.

Круг обязанностей цензурного отделения по закону был весьма расплывчатым. Корреспонденция фактически прочитывалась войсковыми цензорами. Штаб фронта лишь направлял их деятельность и решал спорные случаи. Мы должны были читать газеты — свои и иностранные, поскольку удавалось получать эти последние. Делать сводки и выборки из них. Иметь дело с корреспондентами и с иностранными военными агентами.

Все это казалось жидковатым, как бы лишенным какого-то основного стержня. Надо было выдумать этот стержень. И вот мы с Осиповым порешили приступить к изданию фронтовой газеты. Она должна была связать войска с тылом и Россией, давать ориентировку в общей политической и военной обстановке, рассказывать о подвигах наших войск и отдельных лиц, развлекать...

Доклад мой на эту тему получил полное одобрение М. В. Алексеева и его утверждение.

Так родился « Армейский Вестник ».

Счастливое событие это произошло в первых числах августа в Бердичеве, куда к этому времени штаб фронта перешел из Киева.

Как полагается, новорожденная газета появилась на свет в крошечном виде, — это был небольшого формата лист в две страницы. Но росла она очень быстро. Увеличивался и формат и число страниц.

Вначале я составлял номер целиком сам, но постепенно у меня появились сотрудники, не говоря уже о шустром Осипове, который с увлечением вошел в зна-

комую ему газетную игру, — в новой для него военной форме.

Кроме налаживания корреспонденций «с мест», то есть из толщи войск и с боевых участков, надо было справиться с другим затруднением: своевременной и широкой доставкой газеты в войска. Прошло некоторое время, пока старшие штабы прониклись уважением к нашему органу печати и начали принимать меры к тому, чтобы «Армейский Вестник» попадал в полки и в окопы, а не застревал на передаточных пунктах в тылах корпусов и дивизий.

Встретилось препятствие однажды и с печатанием. Газета печаталась в походной типографии штаба фронта. Штаб переехал из Бердичева в середине августа в Ровно, а затем, на время решительного Люблинского сражения, на станцию Луков, к югу от г. Седлеца. Мы оказались близко к боевому фронту и потому большие тяжести оставили в более глубоком тылу — в том числе громоздкую типографскую машину. Казалось, придется приостановить выход газеты! Но, к счастью, шрифты можно было доставить, и предстояло только найти место печатания.

Я вспомнил о Седлеце, где, разумеется, была типография. Мы набирали газету в Лукове, а затем я сел в автомобиль и, бережно держа гранки на коленях, отправлялся в Седлец. Путешествие это, верст в 30, занимало всего около часа. Я прибывал под вечер, сдавал набор в типографию. Ночью происходило печатание, и рано утром я вез пачки газет, пахнувших свежей краской, обратно в Луков.

Кстати, о переходе штаба Юго-Западного фронта за его крайний правый фланг и в район тыла Люблинского сектора. Сделано это было намеренно, чтобы придать упорства 4-ой армии, с трудом сдерживавшей превосходные силы австрийцев, и иметь возможность непосредственно влиять на ход боя, от которого зависел исход Галицийской операции.

Это приближение штаба фронта к войскам, дравшимся на решающем участке, было тем шагом, который следовало сделать Жилинскому на Северо-Западном фронте в начале августа, во время нашего наступления в Восточную Пруссию. Управляя издали, штаб этого фронта утратил связь с быстро развивав-

шимися событиями и не мог внести никаких поправок в разнородный и стратегический беспорядок действий двух наших армий, которые, в конце концов, потерпели жестокое поражение. Армии эти не чувствовали чуткого управления свыше, а штаб фронта не знал того, что происходило в армиях.

Близость штаба Юго-Западного фронта к Люблину позволяла Алексееву пристально следить за всем происходившим и вливать в войска уверенность, не мешаясь в мелочи исполнения.

В критические дни Люблинского сражения, когда в 4-ой армии обнаружились признаки колебания, меня командировали в штаб армии для передачи инструкций и для получения личного впечатления об обстановке. Мне дали автомобиль и вооруженного «конвоира», не считая шофера.

Но, когда я приехал в Люблин, положение на фронте упрочилось и настроение в штабе армии казалось твердым. Я продолжал свой путь дальше, к полям, где только что разыгрались горячие схватки. Во время этой поездки мне удалось переночевать на биваке родного лейб-гвардии Егерского полка. Кажется это было в день полкового праздника, — 17 августа. Егеря оказали мне милое «полевое» гостеприимство и напоили меня чаем с вареньем! А на другое утро, следуя дальше на юг, я встретил походную колонну другого гвардейского полка, пересекшего мне дорогу; остановившись на перекрестке, я пропустил таким образом этот полк мимо себя, отдав честь знамени и козыряя офицерам, из которых многих знал.

Это были Измайловцы! Не могло прийти в голову, что через какие-нибудь девять месяцев я сам буду вести походную колонну этого полка.

Из мест, в которых я побывал во время этой поездки, запомнилось особенно поле боя у д. Красник, где еще были живы следы недавнего сражения. Здесь нашим артиллерийским огнем была уничтожена австрийская батарея и трупы лошадей в трагических позах, с торчащими кверху застывшими ногами, лежали по обе стороны дороги.

После победоносного разрешения Люблинского кризиса штаб наш перешел в г. Холм, ближе к середине фронта.

Поместились мы в просторном здании мужской гимназии. Отсюда в начале сентября Алексеев и Пусто-войтенко отправили меня сопровождать японского майора Генерального штаба (что-то вроде Никишима), нашего союзника, по галицийским полям сражений.

Поездка эта, как мы увидим, совершенно неожиданно оказалась важной и существенной лично для меня.

Мы побывали во Львове, где провели несколько дней; представились русскому генерал-губернатору Галиции графу Бобринскому во дворце, увешанном портретами Габсбургов и теперь населенном адъютантами новой власти, разными новоиспеченными чинами по управлению краем. Повидали поле сражения 8-й армии у Городка и по реке Верещице. Проехали через всю Восточную Галицию к р. Сан по дорогам, по обе стороны которых печальными шпалерами были выстроены, в большем или меньшем живописном беспорядке, бесчисленные трофеи: австрийские пушки, зарядные ящики, всевозможные обозные повозки.

Мой японец желал закончить свое путешествие в 3-ей армии, в штаб которой мы и направились. Он был расположен в г. Ярославле на р. Сан.

Командующий армией болгарин Радко-Дмитриев, два года перед тем познакомившийся со мной в Петербурге, узнал меня и после одного из общих обедов в столовой штаба спросил, в чем заключается моя служба на войне. Я сказал, прибавив, что мне, как профессору тактики пехоты, следовало бы практически прикоснуться к этой тактике.

— Не пожелаете ли вы принять полк у меня в армии? — спросил меня Радко-Дмитриев. Я, конечно, ответил утвердительно и с энтузиазмом.

— Я непременно скажу об этом дежурному генералу, — сказал командующий армией; — а вы, со своей стороны, тоже передайте ему от моего имени, чтобы вас занесли в кандидатский список.

Дежурный генерал, еще не произведенный в этот чин полковник Шиллинг, оказался знакомым по моей службе в Киеве. Это был гвардейский офицер (кажется, лейб-гвардии Финляндского полка), очень симпатичный и доброжелательный. Он с охотой записал меня кандидатом командующего армией «вне очере-

ди » и обещал проследить за тем, чтобы назначение не затянулось.

Через день-другой я, расставшись со своим косоглазым компаньоном, зашел к Радко-Дмитриеву откланяться перед отъездом в штаб фронта. Я еще раз поблагодарил его за внимание и доверие, а генерал выразил надежду скоро увидеть меня в своей армии.

Как ни благоприятно, казалось, складывалось это непредвиденное приглашение, я все же не слишком верил в его осуществимость; поэтому по возвращении в штаб и к своей цензуре не только не поделился ни с кем своими надеждами, но и сам почти забыл о них.

Тем больше я обрадовался и взволновался, когда через какую-нибудь неделю меня разбудили ночью и передали телеграмму командующего 3-ей армией с запросом к командованию 123-м пехотным Козловским полком. Такой же запрос обо мне получил, конечно, и Главнокомандующий фронтом.

Решение зависело теперь всецело от генералов Иванова и Алексеева. По старшинству я еще был очень далек от кандидатуры на полк (всего два с половиной года в чине полковника). При своем назначении я опережал многих старших по Генеральному штабу и всех своих сверстников.

К счастью, ни старик-артиллерист Иванов, ни понимавший мои побуждения Алексеев, не были формалистами. Выражаясь принятым у нас официальным языком, «препятствий к назначению» не последовало, а добродушный Иванов даже почти благословил меня на эту измену штабному стулу.

Будь я начальником оперативного отделения, ничего этого не произошло бы прежде всего потому, что мне не пришлось бы заехать в качестве туриста в штаб 3-ей армии; а, во-вторых, потому что, случись такое предложение, меня не отпустили бы.

Заместить начальника цензурного отделения — последнюю спицу в колеснице генерал-квартирмейстерской части — не представляло затруднений. Само отделение прочно стало на ноги. Оставалось поддерживать и развивать заведенную рутину.

Мой штат расширился. В качестве помощника я получил офицера Генерального штаба, причисленного к нему ротмистра лейб-гвардии Гродненского полка

Добржиаловского, хорошо и быстро вошедшего в курс дела. Кроме этого маленького гусара, у нас появился еще переводчик, сапер, по происхождению чех, фамилию которого я забыл.

«Армейский Вестник» приобрел внешний вид настоящей газеты и известность.

Торопливо собрался я в дорогу, точно опасаясь, — не раздумали бы! Сослуживцы проводили меня милым обедом в скромной интимной обстановке и добрыми пожеланиями; а мои бывшие подчиненные еще и обдуманным подарком, глубоко меня тронувшим.

Это был бювар формата первого номера «Армейского Вестника» с серебряной верхней доской, на которой была воспроизведена гравировкой заглавная часть газеты и на месте текста — факсимиле подписей моих сотрудников и дружеская надпись.

Как они умудрились соорудить этот художественный предмет в захолустном Холме — и в такой короткий срок, — не знаю.

Впоследствии, где бы я ни был на фронте, я аккуратно получал «Армейский Вестник» в конвертах, на которых был типографским способом напечатан мой адрес. А в первую годовщину со дня рождения газеты редакция прислала мне сердечное приветствие.

К этому времени редакция разрослась; во главе ее был поставлен известный писатель Родионов (автор нашумевшего обличительного романа «Наше преступление»); по виду и формату она ничем не уступала любой газете *).

Во время моего двухмесячного пребывания в штабе Юго-Западного фронта, с конца июля по, примерно, 20-ое сентября, я имел возможность наблюдать стратегическую работу штаба под руководством лучшего у нас мастера этого дела — М. В. Алексева.

*) Осипов, однако, в конце 1915 г. тоже перешел в строй и поступил, по моему следу, лейб-гвардии в Измайловский полк, в его запасный батальон. Матвеев умер, — этот, по виду, здоровяк!

Организовал он ее, однако, по-своему, отделив творческую часть работы от исполнительской. Для первой он привлек двух своих чинов «для поручений» — генерала В. Борисова и полковника М. Дитерихса. С их помощью Алексеев принимал в своем кабинете решения и их разрабатывал. В готовом виде, часто написанные четкою рукою самого Алексеева (напоминавшего почерк Милютин), эти распоряжения передавались генерал-квартирмейстеру Пустовойтенко или, через его голову, оперативному отделению. Последнему оставалось только исполнить: то есть переписать, иногда что-нибудь прибавить, дать справку, резюмировать, разослать. Роль ответственного органа управления таким образом сводилась почти к автоматической работе. Недостатка в работе, разумеется, не было; требовалось быть в курсе обстановки во всех мельчайших подробностях; требовались точность, быстрота, налаженность. Но творчества не требовалось. Оно исходило из таинственного кабинета Алексева.

При этих условиях значение генерал-квартирмейстера в оперативной работе сводилось к нулю. Алексеев не включил Пустовойтенко в созданную им стратегическую тройку. Иногда он присутствовал на совещаниях, но для всех было очевидно, что в его советах не нуждались.

Он представлял резкий контраст с серьезными и озабоченными Борисовым и Дитерихсом. Моложавый, с хорошей талией и довольно красивым лицом, со своей холеной черной бородкой и тщательно причесанными «на пробор» начинающими седеть волосами, всегда щеголевато одетый, любивший бросить на себя взгляд в зеркало — Пустовойтенко и внешнею подчеркнувал эту разницу — в особенности в отношении Борисова, неряшливого, не следившего за своей бородой и чистотой ногтей и сапог.

Приближение Алексеевым Борисова и Дитерихса объяснялось тем, что с первым он был дружен давно; знал его философско-стратегические наклонности и ценил его военно-научные труды, хотя склонные к отвлеченности и к доктринерству (Борисов особенно занимался Наполеоном); второго Алексеев помнил по Академии и потом имел случай убедиться еще раз в

чрезвычайной серьезности этого молодого офицера Генерального штаба *).

Но из этих двух помощников главным советчиком был доктринер Борисов, имевший, кроме своей глубокой теоретической подготовки, еще и опыт заведования оперативным отделом Главного Управления Генерального штаба по должности 1-го обер-квартирмейстера при Палицыне.

Не раз, входя по какому-нибудь делу к Алексееву, я заставлял его и Борисова склонившимися над огромной картой, разложенной на специально устроенном столе. Они разговаривали тихими голосами, как заговорщики, и не сразу замечали вошедшего.

Когда через год Алексеев сделался начальником штаба Верховного Главнокомандующего у Государя, он взял с собою в Ставку и своего нештатного товарища — стратега, нахмуренного Борисова, и штабного генерал-квартирмейстера, беззаботного Пустовойтенко.

Положение в Ставке изменилось: при Великом Князе Николае Николаевиче начальник штаба Янушкевич был ничем, а генерал-квартирмейстер Юрий Данилов — главной оперативной пружиной. Теперь стало наоборот.

Время моего пребывания в штабе Юго-Западного фронта было временем крупного проигрыша нами сражения на Северо-Западном фронте, в Восточной Пруссии (благодаря которому, однако, французы и англичане справились с немцами под Парижем), и блистательной Галицийской операции нашего фронта.

К первому стратегическому эпизоду относится воспоминание о приезде в Ровно, на свидание с Ивановым и Алексеевым, Великого Князя Николая Николаевича.

*) М. К. Дитерихс был старше меня годом по Пажескому корпусу и года на три по Академии. Из камер-пажей он необычно вышел не в гвардию, а в туркестанскую конно-горную батарею. Во время войны был впоследствии генерал-квартирмейстером штаба фронта, а в 1916 г. командовал русскими войсками на Салоникском фронте. Во время гражданской войны — командовал армией у адм. Колчака в Сибири. В эмиграции стоял во главе русского Офицерского Союза в Китае, где и скончался в 1937 году.

Произошло это 4 августа ст. ст., на другой день после первого заметного боя на нашем фронте, когда австрийская кавалерия атаковала Владимир-Волыньск и была отбита нашим пехотным Бородинским полком. Это был 18-й день нашей мобилизации. Считалось, что мы можем, с некоторой натяжкой, перейти в общее наступление на 28-й день. Об этом знали, конечно, наши союзники — французы. Но в первых числах августа определилось сильное давление немцев в обход левого крыла французов и англичан через Бельгию и французские представители в Ставке торопили ее с началом наступления, чтобы оттянуть на русский фронт внимание и силы немцев.

Как кажется, целью приезда Великого Князя в Ровно было желание услышать лично от Иванова-Алексеева (так и следовало видеть их под этой двойной фамилией) согласие на начало наступления десятью днями раньше. Мы все, чины штаба, встречали поезд Верховного Главнокомандующего на станции Ровно. После совещания, состоявшегося в вагоне Великого Князя, ему и приехавшим с ним чинам был предложен завтрак на вокзале.

К этому времени мы все уже знали, что желаемое союзниками решение состоялось и отдается приказ о немедленном переходе границы и атаке неприятеля.

Надо было видеть восторженное волнение во время завтрака французских военных агентов, не чувствовавших под собою ног от сообщенного им известия. Тогда они были благодарны! После войны, о России, начавшей в тот памятный день длинную серию тяжелых самопожертвований на пользу общего союзного дела, выбитой затем из колеи этими жертвами, забыли в порядке общечеловеческой забывчивости о благодеяниях (вспомним еще раз Болгарию и Черногорию).

Но 4 августа 1914 г. было другое дело. Сиял от принятого решения сам Великий Князь. Сияли и сгруппировавшиеся около его высокой, господствовавшей над всеми фигурой, офицеры во французских и английских формах.

КОМАНДОВАНИЕ 123-м ПЕХОТНЫМ КОЗЛОВСКИМ ПОЛКОМ

Я прибыл в штаб 3-ей армии поездом, одновременно со своими лошадьми. Представился Радко-Дмитриеву, получил от него пакет для передачи в какой-то крупный войсковой штаб и верхом выехал в 31-ю пехотную дивизию, в которую входил мой Козловский полк; она находилась в боевой линии и в бою на левом берегу р. Сан.

Приказ по армии о допущении меня к командованию полком состоялся 23 сентября.

Назначение мое командиром полка состоялось просто. Казалось, одним прыжком я преодолел все канцелярские барьеры, которые могли быть подставлены человеку, выдвинутому вне кандидатского списка. Но не тут-то было! Всемогущие канцелярии, застигнутые врасплох, вскоре оправились, и мне пришлось испытать их силу в области бумажного подравнивания. Формула «допущения» к командованию отдельною частью означала переходное состояние, дававшее «допущенному» все законные права и возлагавшее на него всю ответственность; но затем требовалось «утверждение» Высочайшей властью, выражавшееся в приказе о «назначении» командиром полка. Лишь после такого приказа можно было надеть форму полка.

Сместить «допущенного» без серьезных оснований отрицательного свойства было невозможно. Но в Главном Штабе, ведавшем изданием Высочайших приказов о назначениях, нашли выход: нужно было только тянуть с отдачей этого приказа до того времени, когда, по спискам старшинства, «допущенный» созреет до утверждения в должности!

В результате этого хитроумного канцелярского изворота я командовал 123-м пехотным Козловским полком полгода и успешно водил его в сражения, оставаясь все это время номинально в Генеральном штабе и продолжая носить его форму. Для этого пришлось прибегнуть еще к одной уловке: назначить меня фиктивно начальником штаба какой-нибудь дивизии с тем, чтобы я был на этой должности заведомо мертвой душой.

Довольно долго — в течение 4-5 месяцев — такой дивизией, лишенной начальника штаба, была 5-я пехотная, находившаяся где-то далеко, на чужом фронте. И лишь под конец, к весне 1915 года, меня переназначили в свою собственную 31-ю пехотную дивизию, когда ушел командовать полком ее начальник штаба полковник Казанович.

Это обстоятельство дало возможность начальству вызвать меня в апреле 1915 года в штаб дивизии, оставшийся вовсе без офицера Генерального штаба (исполнявший обязанности начальника штаба капитан Кардашенко тоже получил другое назначение и уехал).

Создалось совсем нелепое положение: неутвержденный командир полка « временно » исполнял свои прямые обязанности начальника штаба! Ибо считалось, что я вернусь командовать полком при первой возможности. К тому же теперь ожидали со дня на день Высочайшего приказа о моем назначении.

Как мы увидим дальше, этот долго зревший приказ о моем назначении командиром Козловцев так и не состоялся, что, однако, не помешало моим невидимым уравнителям сказать обо мне в Высочайшем приказе о награждении меня Высочайшим благоволением 27 октября 1915 г.: « Командиру 123-го пехотного Козловского полка полковнику Геруа ». То же было сказано впоследствии о награждении Георгиевским оружием « за бои 8-23 октября 1914 г. ».

После этого я мог считать себя « утвержденным » — в прошлом, со времени отличия, то есть с начала октября 1914 года!

Характерно, что Главный Штаб, перед моим назначением командующим лейб-гвардии Измайловским полком в первых числах мая 1915 г., хотел — во имя все того же канцелярского торжества — избежать в

Высочайшем приказе скачка с должности начальника штаба дивизии на командира гвардейского полка; для этого отдать предварительно приказ о моем назначении командиром Козловцев, хотя бы на три дня. Но раздумали и отважились на «скачек».

Сколько хлопот доставил полковник Геруа Главному Штабу!...

Все это введение было нужно, чтобы объяснить пятинедельный перерыв в моей строевой службе — между Козловским и Измайловским полками — и мое возвращение на штатную должность.

Возвращение это оказалось на короткое время, но такое, когда каждый боевой день можно было считать за три. Оно совпало с ударом фаланги Макензена по всему фронту 10-го армейского корпуса и с нашим трагическим отступлением из Галиции.

Я точно помню дату приказа по 3-ей армии о допущении меня к командованию Козловским полком: 23 сентября 1914 года.

Думаю, что приказ был отдан, когда я фактически уже ехал в полк из штаба Юго-Западного фронта, после обмена служебных телеграмм, и что он совпал с моим проездом через штаб 3-й армии. Последний находился тогда в Ярославле, на р. Сан, а армия вела бои на его западном берегу, примерно в двух переходах.

Командующий армией, Радко-Дмитриев, победитель турок в болгарской кампании 1912 года, которому я был обязан своим назначением вне очереди, напутствовал меня по-военному и дал какие-то бумаги для доставки в штаб 10-го корпуса. Полк входил в его состав. Я выехал верхом немедленно, с ординарцем и со своим вьючным конем, минуя, для скорости, штаб корпуса и направляясь прямо в штаб своей 31-й дивизии. По дороге пришлось переночевать в какой-то бедной галицийской деревушке, — примитивно, на соломе и на полу.

Отправив из штаба дивизии порученные мне бумаги по назначению и узнав, что начальник дивизии находится впереди, на позиции, я зарысил дальше, чтобы представиться там генералу.

Он знал меня. Дивизией командовал бывший Преображенец Павел Дмитриевич Шипов, художник, с которым я встречался когда-то в «Соляном Городке» в Петербурге, на собраниях общества «Понедельников».

По мере приближения к позиции все больше и больше обозначалось, что на ней шел бой. Громче была стрельба, все чаще в ясном небе показывались, расплывались и таяли розовые дымки австрийских шрапнелей.

Нашел я Шипова на гребне высоты, занятой нашей пехотой. Она, очевидно, была под обстрелом, хотя в ту минуту огонь притих. Люди сидели и лежали в наскоро вырытых мелких окопах. Но Шипов со своей небольшой свитой во весь рост расхаживал позади окопов, в лихо, набекрень, заломленной папахе, играя казачьей нагайкой. Со времени наших последних встреч он, в дополнение к длинным русым усам, отрастил бороду, расчесанную надвое, *à la russe*. Высокий, стройный и красивый, Шипов культивировал эти данные природы во имя картинного русского стиля и даже носил в левом ухе серьгу. Русые волосы, все еще густые и на голове, однако, сильно смешались с седыми. Если прежде Шипов подходил бы без грима под молодого стольника 17-го века, то теперь это был чиновный боярин с полотна К. Маковского.

Он возил с собою в походе краски и иногда усаживался писать этюды на какой-нибудь горюшке, находившейся под периодическим огнем противника.

Во всем его поведении и отношении к людям сквозило средневековое рыцарство «без страха и упрека». Шипов считал, что и все другие держатся таких же правил чести и благородства. Не знаю, случалось ли ему испытывать горькие разочарования, но не сомневаюсь, что оснований для этого было постоянно более чем достаточно.

Шипов остался в жизни одиночкой, всецело посвятив себя живописи и военному делу. Эти два искусства у него дружно переплетались, так как он рисовал и писал исключительно на батальные темы. Помнится, одно его большое полотно (кажется, переправа уральских казаков через реку) было приобретено для военной галереи Зимнего Дворца. Свое художественное образование Шипов получил в Париже. Ему позволили

провести с этой целью за границей довольно продолжительное время, оставаясь в Преображенском полку.

В своих картинах он все военное идеализировал и стилизовал все в том же духе *à la russe*. А в практике смотрел на него весьма упрощенно, полагая, что победы достигаются одною доблестью войск и их начальников.

Поощряя подчиненных в этом направлении и показывая личный пример, Шипов предоставлял разработку приказов и технику их осуществления своему штабу. Во время русско-японской войны он с успехом откомандовал одним из сибирских стрелковых полков. Быть может, эта удача укрепила его в мысли о правильности такой системы управления, в которой начальник является лишь организатором духа, а штаб делает все остальное.

В начале войны 1914 года Шипов командовал бригадой в 31-й пехотной дивизии, и из этого периода в ней сохранился легендарный рассказ о том, как он нацеливал для атаки вверенные ему полки. Махнув широко рукой в одном направлении, он говорил: «Вам идти сюда!»; повторив указательный жест в другом направлении — «а вам туда!» и т. д. На вопрос озадаченных полковых командиров, не будет ли еще каких-нибудь приказаний, Шипов твердо объявил, что «это все» и, сделав широкий крест в воздухе над командирскими головами, прибавил: «И да поможет вам Бог!».

Замечательнее всего было то, что Бог держал руку Шипова и неизменно помогал. Несмотря на случавшуюся путаницу, переименования частей и т. п., как следствие приказаний, лично отданных Шиповым, бои оканчивались в худшем случае вполне благополучно, а в лучшем видными победами.

Можно было уверовать поэтому в Божье покровительство, милостиво сопровождавшее тактически упрощенные эксперименты Шипова.

Получив дивизию, он, конечно, оказался всецело в руках своего начальника штаба в области решения задач и их исполнения. Но, подписав нужные боевые приказы, Шипов выезжал к войскам туда, где было горячо, и своим невозмутимым спокойствием прибавлял уверенности командирам и солдатам.

Вступить в командование Козловским полком тотчас по прибытии мне, однако, не удалось. Не знаю, по-

чему уже произведенный в генерал-майоры и назначенный бригадным командиром А. С. Саввич, мой предшественник, не спешил сдавать полк. Возможно, что ввиду происходивших отступательных боев решили подождать с переменой полкового командира и дать время новоприезжему войти в курс событий. К тому же в дивизии существовал другой бригадный — некий Цецович, черногорского происхождения, на редкость глупый и бесполезный, но все же состоявший налицо. Может быть хотели сначала отделаться от этой обузы при штабе дивизии и сплавить Цецовича куда-нибудь. Когда это впоследствии удалось, вспоминали о нем только в связи с двуколкой, которая полагалась бригадному командиру и судьбой которой Цецович был с утра до вечера так поглощен, что не оставалось места для других интересов. Можно было подумать, что он возил в ней какие-нибудь сокровища или держал там, как в банке, все свое состояние.

Впредь до моего фактического вступления в командование полком мне оставалось селиться и передвигаться с А. С. Саввичем, постепенно знакомясь с полковыми делами и помогая ему в оперативной части. Человек это был умный, воспитанный, доброжелательный и прямой; ладить с ним не представляло для меня никаких затруднений; мы очень скоро сошлись на дружескую ногу.

Стратегически в Галиции в конце сентября происходило следующее: австрийцы, потерпевшие крупное поражение месяц тому назад и отступившие вглубь Галиции, к Карпатам, успели там оправиться и, собравшись с силами, перешли в новое наступление. Наши части, выдвинутые при преследовании на западный берег р. Сан, должны были, в свою очередь, под напором превосходных сил, отходить с боями. Мы, в конце концов, отошли на линию р. Сан, на которой удержали ряд предмостных позиций.

Одновременно австрийцы оживились под Перемышлем, который мы пробовали взять открытой силой. Опираясь на форты крепости, они сами перешли в наступление. Наше положение там пошатнулось. Несомненно противник превосходил нас в числе орудий и особенно в калибрах и весе снарядов. Кроме того, каза-

лось, что гарнизон Перемышля получил значительные подкрепления.

Ввиду такой обстановки на южной части Галицийского фронта было решено поддержать дравшиеся там войска присылкой резервов с севера. Как широко это было сделано, я не знаю, но 31-я пехотная дивизия попала в число выделенных войск, была временно исключена из состава своего 10-го корпуса и двинута походным порядком к Перемышлю.

Подошла она в тыл войск, действовавших к востоку от крепости, около 1 октября. И чуть не в самый день прибытия в новый район последовал приказ по дивизии — «Генерал-майору Саввичу вступить в командование 2-й бригадой, а полковнику Геруа — в командование 123-м пехотным Козловским полком».

Таким образом, без прямого дела я провел в дивизии всего не больше пяти-шести дней.

С радостью, с приподнятым духом и с жутким чувством вдруг надвинувшейся большой ответственности, подъехал я рано утром к полку, который выстроился в ожидании выступления в дальнейший поход.

Здороваясь в первый раз с батальонами, я заметил, что для офицеров и людей мое появление в роли командира именно в то утро было полной неожиданностью. Вечерний приказ по полку накануне еще был подписан Саввичем.

Мы сделали небольшой переход и подошли совсем близко к боевой зоне. Двигались и остальные три полка дивизии и наша артиллерийская бригада, но, вероятно, другими путями, ибо я не помню их соседства. Хотя, быть может, 124-й пехотный Воронежский полк (той же бригады Саввича) находился поблизости.

Полк остановился еще совершенно засветло на отдых — вроде большого привала — на какой-то открытой площадке, окаймленной лесками. Едва я успел отвести батальоны в стороны и поставить их в маскированное положение, как прилетел одинокий аэроплан и бросил бомбу — тоже одинокую — как раз в середину пустой площадки.

Воздушные флоты и бомбометание были тогда в младенчестве! Мы, офицеры, с любопытством побежали посмотреть на результат разрыва. Нашли крошеч-

ную воронку, ничтожность которой вызвала бы сегодня ироническую улыбку.

Пока же полк стоял наготове, в низине, отделенной от ближайшего поля сражения лесистой горкой, и вне артиллерийского огня противника. В ожидании распоряжений я с батальонными командирами и штабом полка вышли пешком на противоположную опушку рощи, служившей нам ширмой, и были поражены открывшейся перед нами панорамой. Теплый, сухой день склонялся к вечеру. Против нас солнце спешило спуститься за горизонт, на покой, играя своими последними лучами на осеннем золоте кудрявой буковой рощи, которая тянулась вдоль высокого края и вдоль опушки которой мы медленно подвигались, любясь картиной. Внизу расстилалась на далекое расстояние волнистая равнина, совершенно открытая, постепенно поднимавшаяся к западу и уходившая в лиловую полосу леса на границе с безоблачным небом, начинавшим розоветь. Бежали розовые тона и длинные тени и по жнивью полей, широких, ничем не перегороженных. И высоко, на фоне еще бледно-голубой части неба, появлялись и исчезали розовые дымки австрийских шрапнелей.

Шло наступление каких-то наших частей, и нам сверху оно было видно как на ладони. В бинокль можно было следить за постепенным успешным продвижением длинных пехотных цепей, за перебежками резервов.

Все это представлялось огромной моделью поля сражения, оживленной движущимися крошечными фигурами солдат, игрушечными повозками и орудиями. Освещенная приятным розовым светом заката, картина эта не говорила об ужасах войны и — если бы не разрывы шрапнелей — напоминала бы маневры мирного времени.

Мы чувствовали себя в положении зрителей в театре, наблюдавших представление из царской ложи бельэтажа. Такого четкого и широкого вида мне затем больше не пришлось видеть в течение всей войны.

Но я заплатил за это удовольствие ценою своего превосходного Цейса. Повесив бинокль на сучок дерева, я отошел вместе с другими в сторону на несколько шагов, а по возвращении — *e presto!* Мой Цейс исчез

бесследно. Пустой и молчаливый сучок смотрел сиротливо и сконфуженно. Царская ложа на галицийской горке охранялась плохо!

Едва мы успели вернуться после представления в свой нарядный буковый лесок и поужинать, как пришло приказание: полку выступить немедленно на поддержку такой-то дивизии, дравшейся на подступах к Перемышлю.

Уже стемнело. Через час — другой должна была наступить настоящая ночь, черная, безлунная.

Собрав своих батальонных командиров, я объяснил им обстановку и тут же, в лесу, продиктовал свой приказ. Помню, я испытал удовлетворение, что это заняло всего несколько минут и вылилось легко, как самоуверенно мне казалось, с должными краткостью, ясностью и полнотой. По-видимому, тренировка на прикладном решении задач в Академии не пропала даром. И впоследствии на войне я не переставал чувствовать себя дома в этой области быстрого, на ходу, составления и редактирования приказаний.

Переход был короткий, но в назначенный район полк подошел уже в полной темноте. Я явился кому следовало и получил комплимент: «Никак не ожидал вас так скоро!».

Полку было приказано считать себя пока в резерве и отдыхать. Люди составили ружья и устроились около них на ночлег на земле, покрывшись шинелями. То же самое сделал и их командир. Земля была жаркая, под головой только кожаная походная сумка, приходилось часто поворачиваться с боку на бок, но октябрьская ночь была сухой и тихой, а сон крепкий, — еще не старого человека, которому до 40 лет оставалось два года. Козловцы отдохнули отлично.

На другой день, 2 октября, мы по-прежнему только слышали шум боя впереди, но не получали задачи. Лишь поздно вечером, когда совершенно стемнело, полку было приказано передвинуться немного на север, следуя параллельно фронту, и стать в резерве за другим боевым участком. Где в это время были и что делали остальные три полка дивизии, я не помню. Вообще в этот период действия Козловцев представляются мне оторванными и не связанными с работой своей дивизии в целом. Мы, правда, постоянно чувствовали ру-

ку и глаз Саввича, но можно было подозревать, что 31-я дивизия, попав в район и в подчинение чужого корпуса (12-го) в качестве гастролера, употреблялась новым начальством враздробь, по полкам, для так называемого «затыкания дыр» в боевой линии или для укрепления пошатнувшихся участков.

Во время указанного ночного передвижения полка со мной лично случился следующий эпизод: я ехал со штабом впереди колонны. Было так темно, что выражение «хоть глаз выколи» как нельзя лучше определяло видимость. Приходилось полагаться на инстинкт и зрение лошади, отдав поводья и позволяя ей самой выбирать и, в местах зарослей, пробивать себе дорогу. Делал это мой конь успешно, и я чувствовал, что он понимал свою роль и возложенную на него ответственность. Ступал он заботливо, сосредоточенно, иногда приостанавливался, точно соображая, что делать дальше, и спрашивая меня. В ответ я давал ему легкий посыл-поощрение шенкелями, и мы продолжали движение. Вдруг совершенно для меня неожиданно, мы вскарабкались на какую-то очень крутую насыпь, почти отвесную. И затем я понял, что у нас под ногами, наконец, та твердая и прямая дорога, к которой мы пробивались. Едва я успел поздравить себя с этим, как мы с конем полетели кувырком вниз, в неизвестную черноту! Это была секунда. Я услышал лязг металла, чей-то крик и знал, что сам шлепнулся о твердую землю. Вскочив, я разобрал силуэт моей лошади, лежавшей на спине, с седлом, съехавшим на живот, и старавшейся перевернуться и встать на ноги. Я помог ей поводом. Когда мы пришли в порядок и седло было водворено на свое место, я не без удивления мог установить, что ни лошадь, ни я не пострадали от этого приключения. Кроме факта самого падения с высокой насыпи, по которой шла дорога, упали мы на составленные в козлы ружья с примкнутыми штыками. К счастью, лошадь копытом распластала пирамидку, на которую мы падали. Слышанный мною металлический лязг произошел от распавшегося ружейного «козла». Пострадал только солдат какого-то резерва, ночевавшего под прикрытием дорожной насыпи; лошадь ударила его копытом, и это он вскрикнул.

Когда мы снова взобрались благополучно на доро-

гу, на ней недоуменно стояла верхом моя небольшая свита.

— Где вы были, господин полковник? Мгновение, и вы куда-то исчезли как по волшебству!

Командир полка рассказал свое приключение, и колонна тронулась дальше.

На рассвете мы подробно осмотрели лошадь. Оказалось, что все же штык оставил след на предплечье левой передней ноги. Но рана не была глубокой и при внимательном уходе зажила быстро.

Сутки мы простояли в ближайшем резерве за новым участком, где вот уже несколько дней кипел упорный бой за обладание ключем позиции: горой, которая, как округлая вышка, командовала окружающей местностью. Наша пехота только что отбросила австрийцев за вершину, но они получили подкрепление и перешли в контратаку. Происходило это в районе дальнего артиллерийского огня с одного из фортов Перемьшля. Наша артиллерия — только полевая, дивизионная — явно уступала противнику в силе и интенсивности огня.

Штаб полка приютился в каком-то одноэтажном домике, почти без мебели, может быть в бывшей школе. Мы находились так близко к боевой линии, что к нам залетали ружейные пули. На моих глазах, в полущаге, был убит на крыльчке дома солдат — вестовой. Пуля попала прямо в сердце, он мгновенно рухнул и было видно, как краска быстро и плавно сбежала с загорелого лица, сменившись мертвенной синеватой бледностью.

В одной из комнат дома складывали на полу, на соломе, некоторых из раненых и делали им первичную перевязку в ожидании дальнейшей эвакуации в тыл. В числе раненых был австрийский солдат, большого роста и богатырского сложения. Осколок снаряда попал ему в живот, положение бедняги было безнадежно, и зияющую рану лишь для приличия прикрыли бинтом и ватой. Но раненый не мучился и не страдал (быть может, ему сделали впрыскивание). Он даже нашел нужным похвастаться своей раной, приподняв слой окровавленной ваты и показав мне ужасное широкое отверстие, через которое можно было видеть внутренности. Ему хотелось поговорить со мною о своих домаш-

них, и он пытался достать и показать мне какие-то письма и фотографии. С моим элементарным немецким языком я не мог быть бойким собеседником, но жестами старался подбодрить и обнадежить его, читая в его добрых, вопрошающих глазах желание одного ответа: что он будет жить! Наконец, он попросил меня принести ему воды.

Когда, через две или три минуты, я вернулся с чашкой воды, мой австриец уже был мертв, и по его открытому потускневшему глазу неторопливо ползла муха.

В ночь на 4 октября полк получил, наконец, определенную задачу: сменить другой полк в окопах на позиции несколько севернее, на высоте впереди замка и деревни Мезенец. Смена произошла до рассвета, в полной темноте. Меня со штабом провели по какому-то открытому пространству в блиндаж полкового командира. Это был узкий окоп, углубленный в землю только на высоту стоящего человека и перекрытый поверху накатником и небольшим слоем земли. В окопе было устроено нечто вроде передней, имевшей два шага в квадрате. В этой прихожей помещались телефоны и телефонисты, — связь с батальонами и со старшими штабами. Собственно командирское помещение имело в длину не более пяти шагов, с узким посередине проходом между двумя земляными ступеньками. Они служили нам диванами для сидения, как в омнибусе, и лежанками. Со мной находились полковой адъютант Рязанцев, заведующий связью Рыбин и начальник полковой пулеметной команды Васильев.

Утро 4 октября наступило осенне-серое; небо было покрыто густыми облаками. Но противник принял меры, чтобы оживить его. С первым светом он обрушился на нашу позицию всею силою артиллерийского огня, которым располагал. Стало совершенно очевидно, что за этой энергичной подготовкой последует атака. Защищали мы лысую, плоскую высоту, поспешно укрепленную. Считалось достаточным вырыть узкие щели, в которых стрелки могли стоять в рост, и прикрыть их головы легкими козырьками от шрапнельных пуль и легких осколков. Сообщение с резервами и с тылом производилось по узким ходам сообщения, по которым можно было двигаться только вереницей, по одному

человеку в ряд. Чтобы уберечь эти коридоры от продольного обстрела, ходы сообщения строились зигзагами и, по возможности, в складках местности, менее подверженных огню противника. Прочность укрепления позиции много зависела от ее устройства в глубину и от связи фронтовой передовой линии огня с резервами. Если бы бой не начался сразу после смены полка, я мог бы днем ознакомиться с характерными чертами порученного мне сектора обороны и принять меры к тем или иным улучшениям. Теперь приходилось пользоваться тем, что было, и зарядиться известною долей фатализма. То, что было, судя даже по карте, показалось мне малонадежным и поверхностным. Позиция не успела получить должного развития. Ничего или очень мало было сделано, чтобы парализовать трудности сообщения с тылом через эту ужасную лысину, которую противнику ничего не стоило держать под густым артиллерийским огнем. Штаб полка догадались расположить в каких-нибудь 600 шагах от среднего батальонного участка и на самой вершине лысины. Будучи прижат к одному из батальонов, командир полка своей близостью мог только мешать работе этого батальона, а с другими батальонами сообщение шло не из глубины, а вдоль боевого фронта. От блиндажа полкового штаба не было вырыто через плешь никакого хода сообщения в тыл, начинавшийся в парке замка Мезенец. Люди, перебегавшие днем, под градом снарядов, открытую высоту, напоминали беспомощных обывателей без зонтиков и макинтошей, застигнутых проливным дождем.

Непрерывность обстрела была такова, что свист снарядов сливался в один сплошной монотонный гул, производивший на слушателя неожиданный результат: вместо того чтобы тревожить, этот свист успокаивал и клонил ко сну!

Как и следовало ожидать, австрийцы под вечер атаковали наши окопы, но были отбиты огнем с коротких дистанций; устроившись, атаковали еще раз и опять были отбиты. Наступила темная ночь. Все стихло. Мы лихорадочно исправляли повреждения в окопах и проводили дополнительные ходы сообщения. Не сомневались, что на утро противник возобновит атаку.

Действительно, вскоре после 7 часов утра началась

та же монотонная долбежка, на которую отвечала откуда-то наша артиллерия, явно более слабая. Штаб полка продолжал сидеть на своей вершине под центром купола, образуемого встречными траекториями чужих и своих снарядов. Из штаба дивизии периодически раздавался по телефону басистый и уверенный голос Саввича, которого сделали начальником бригадного боевого участка. Милый Александр Сергеевич ободрял и поощрял. Я жаловался, что у нас нет своей батареи, которая могла бы обслуживать огнем частные нужды полка и содействовать ближним огнем отбитию атак. Саввич обещал это дело устроить и переговорить с дивизией, а если понадобится, то и с корпусом.

Пока что, мы в этот день снова отразили приступ австрийцев своими бедными средствами. Помнится, что в некоторых местах дошло чуть не до штыковой схватки.

На другой день повторилось примерно то же самое, но я успел перевести штаб несколько более вглубь и за середину участка, начинавшего получать особое значение. Наша плешь была сильно обстреляна, и одна шрапнель влетела в «прихожую» и там разорвалась, убив одного телефониста и ранив двух. Я в эту секунду стоял в проходе блиндажа и был только окутан дымом. Но пулеметчик С. И. Васильев, который сидел на «диване» и с которым я в то время разговаривал, вдруг упал, как подкошенный, на бок. Мелькнула мысль, что он убит, но оказалось, что Васильев только впал в глубокий и долгий обморок. Когда он очнулся, выяснилось, что он оглох: у него под напором струи газов лопнула барабанная перепонка правого уха, которое было обращено ко входу. С наступлением темноты Васильева пришлось эвакуировать. Контузия была тяжелой.

На третий день боя я получил-таки желанную батарею. Но, увы, моему удовольствию суждено было продолжаться недолго: едва ставшая у замка батарея открыла, что называется, рот, как противник засыпал ее 6- и 8-дм. гранатами. Вскоре эти снаряды начали удачными очередями ложиться на самую батарею, и она, понеся потери, отправилась «искать новую позицию». Вдогонку ей неприятель послал с форта парочку 12-дюймовых «чемоданов», которые взрыли в господ-

ском польском парке огромные воронки. Больше мы о батарее ничего не слышали.

Между тем обстановка складывалась так, что австрийцы, не добившись результата против центра позиции на лысой горе, перенесли удар на ее правый фланг. Здесь проходило прямое шоссе от крепостного форта и через село Мезенец. Шоссе это было проложено в складке местности между двумя возвышенностями. Южную занимал мой правофланговый батальон. северную, лесистую, Н-й полк соседней Н-й дивизии. Лесистая горка командовала над моей высотой. Удержание ее для обороны шоссе и подступов к с. Мезенец с запада являлось делом насущным.

Весь день 6 октября шел горячий бой по всей дуге этого сектора. Но не подлежало сомнению, что главные усилия противника направлены на участок у шоссе и, в особенности, на Лесистую горку. Положение моего правофлангового батальона позволяло обстреливать косым огнем австрийские цепи, наступавшие к северу от шоссе на соседний полк. Мы делали в этом смысле, что могли, но тут главным образом нужны были пулеметы. А их было всего по паре на батальон; полк еще не принялся за собирание неприятельских пулеметов, к чему мы пришли в мое командование, нарушая правило сдавать все трофеи!

Все, казалось, шло благополучно, пока уже вечером, когда совершенно стемнело, я не получил донесения от полуроты, державшей связь с моим соседом справа, что этот сосед отступил, очистив Лесистую горку. На мое сообщение по телефону об этом внезапном и неприятном событии генералу Саввичу, он ответил, что примет меры к выяснению обстановки и восстановлению положения. Через некоторое время Саввич «прогудел», что действительно Н-й полк исчез, куда — неизвестно, и что искать его выехали офицеры штаба 12-го корпуса. Также, что к Лесистой горке выдвинут срочно наш Воронежский полк из дивизионного резерва.

Мы провели тревожную ночь. Но на утро выяснилось, что Воронежцы успешно заняли место испарившегося полка и отбросили, несмотря на темноту, части противника, которым удалось взобраться на Лесистую

горку. С другой стороны, нашли и собрали где-то в тылу Н-й полк.

Через несколько месяцев я прочел в официальной военной газете «Русский Инвалид», что командир этого полка получил орден св. Георгия 4 ст. как раз за это дело 6-7 октября 1914 года. Подвиг был описан картинно и убедительно. В штабах, ведавших Н-м полком в ту памятную ночь, очевидно забыли, как тогда искали этот полк, но имели в своем составе талантливых и услужливых друзей доблестного полковника Н. К сожалению, вопрос награждения по статуту знаком ордена св. Георгия выродился у нас с самого начала войны в самую уродливую форму, уронившую значение этой боевой награды*). Нельзя было быть уверенным, видя крест на чьей-либо груди, что он действительно заслужен. Мы еще встретимся с другими подобными примерами.

7 октября я перенес штаб полка далее вглубь позиции, в самую деревню Мезенец, оттянув при этом в полковой резерв свой 4-й батальон. Он расположился с наступлением темноты у меня под рукой, — в парке замка Мезенец.

Целый день австрийцы подготавливали артиллерийским огнем новую атаку, а под вечер произвели несколько атак по всему фронту полка. Атаки снова были отбиты, но на участке левого батальона противнику удалось ворваться в наши окопы и удержаться в них.

Как только это известие дошло до меня, я лично пошел к 4-му батальону, стоявшему в резерве, и приказал командиру, подполковнику Пургасову, немедленно двинуть батальон к потерянному нами участку позиции и штыковой атакой, без огня, выбить австрийцев.

*) Статут был наново пересмотрен и переиздан незадолго до войны. Он нажимал не столько на подвиги личной храбрости, сколько на достигнутые результаты, на трофеи и, вообще, внешние признаки победы. Существовал даже пункт о взятии в плен Главнокомандующего. Этот дух статута открывал широкие возможности старшему командному составу и сокращал их для рядового офицерства. Орденские знаки присуждались Думой, которая судила по письменным свидетельским показаниям товарищей и подчиненных. Эти показания легко можно было подтасовать при желании провести кандидата. Так же легко было и провалить представление достойного лица.

Иван Иванович Пургасов был офицер редких достоинств: лично храбрый, понимавший и любивший военное дело, самолюбивый, умный и подвижной, даже всю свою сухую и подтянутую наружностью типичный солдат. Я едва имел время с ним познакомиться, как и вообще с офицерами полка, но все же сразу почувствовал в Пургасове надежного и незаурядного помощника.

Блестящим выполнением этой первой важной задачи, полученной от меня, Пургасов подтвердил мое впечатление. Ночная контратака эта удалась, мы выбили противника, захватили много пленных и пулеметы.

Я был рад представить его потом за это дело к Георгиевскому кресту, который он и получил, в данном случае по достоинству и по заслугам.

К утру 8 октября, после упорного четырехдневного боя, Козловский полк продолжал удерживать свою «лысину» и все пункты порученного ему сектора обороны.

Но 8-го артиллерийская бомбардировка усилилась. Было видно, что к прежним батареям прибавились новые и что огонь тяжелой фортовой артиллерии сосредоточен на нашем участке. Очереди 8- и 9-дм. гранат и периодически посылаемые 12-дм. «чемоданы», летевшие томительно долго, с гулом приближающегося паровоза, изрыли почву вдоль и поперек. В некоторых местах окопы были сравнены с землей, засыпаны.

На этот раз штаб полка обходился без блиндажа: телефоны поместили в подвале каменного костела. Я лично предпочитал держаться наверху, стоя за восточной стеной церкви. Оттуда можно было, по обстрелу, следить за ходом боя. Тут же неподалеку, за живой изгородью открыто стояли наши верховые лошади. Почти как на маневрах мирного времени. Погода была чудесная, солнечно, ясно и далеко видно.

Костел, расположенный на горке, естественно привлекал к себе внимание противника. Здесь мог быть артиллерийский наблюдательный пункт. Я сказал бы: должен был быть. Но, повторяю, в этом бою полка мы не имели ни одной батареи, которая специально защищала бы нас и не видели в районе полка ни одного артиллериста-разведчика или наблюдателя.

Противник этого не знал и потому направил огонь

своего 12-дм. орудия на костел. «Чемоданы» стали ложиться вокруг, взрывая огромные воронки и подбрасывая вверх столбы черной земли, смешанной с дымом. Снаряды ложились все ближе и ближе, и, наконец, костел был удачно взят в вилку. Близкий недолет потряс здание так, что оно буквально покачнулось, — сначала в одну сторону, потом в другую, точно в раздумье: упасть или нет, и затем стало на место. Лишь осколки пробили крышу костела и нас обсыпало градом черепков.

Затем перелет ударил поблизости от нашей коновязи. Несколько людей и лошадей было убито и ранено. Легко ранены были мой конь и мой вестовой, взятый из академического полуэскадрона и носивший громкую фамилию Пушкина.

Примерно около полудня положение на участке стало критическим. Резервов у меня никаких не осталось, и отбивать противника контратаками было нечем. Не располагал резервами и штаб дивизии, так как Шипов, получив от меня по телефону тревожное донесение, мог предложить в качестве резерва только самого себя.

— Хотите, я приеду к вам? — спросил он меня. Конечно, я отказался от этой поддержки, — чисто нравственной, — прося найти роту или две с пулеметами.

Между тем австрийцы повели атаку по всему фронту. Главное давление было вдоль шоссе. Мой крайний правый фланг, вытесненный из своей основной позиции, зацепился за кладбище. Неприятель теперь обстреливал его, имея в виду им овладеть. Как раз в это время мне донесли, что прибыла рота, присланная по настоянию Шипова из соседней дивизии. Я вышел к этому «последнему» резерву навстречу и решил лично направить его для усиления слабого гарнизона кладбища и, если бы понадобилось, повести в контратаку. Рота, по числу людей, оказалась полуротой, и командовал ею фельдфебель. Какого она была полка, не помню, но знаю, что второочередного, с синими отличиями, то есть второго по номеру в дивизии.

Я взял с собою полкового адъютанта и кое-кого из связи. Сначала мы пошли по пахоти целиной, от закрытия к закрытию, но было очень вязко, нога утопала в глинистой почве; скоро это мне надоело, и я

сказал сопровождавшим меня, чтобы они продолжали движение осторожно и целиной, а я пойду прямо по шоссе.

Я встретил тут новую роту, шедшую согнувшись в прищосейной канаве, в этом случайном ходе сообщения, приближавшем к кладбищу. Поздоровавшись с людьми, я пошел впереди них вместе с фельдфебелем. Противник заметил наше движение и открыл огонь, — шрапнельный вдоль канавы и пулеметный во фланг, со стороны Лесистой горки. Пулеметные пули густо шлепались на шоссе, поднимая взбрызги пыли, как это делают первые тяжелые капли дождя. Одна шрапнель разорвалась очень метко и низко, как раз над головой нашей маленькой цепочки. Она так окутала дымом фельдфебеля, что я думал, он убит. Но дым рассеялся, и я увидел фельдфебеля живым и даже не раненым.

Мы продолжали движение.

Я остановился, когда рота развернулась и побежала к кладбищу, которое отстояло теперь шагах в пятистах.

Что фактически могла сделать эта горсточка чужих людей, случайно где-то перехваченных? Получилась небольшая оттяжка, но противник, в явно превосходящих силах, поддержанный интенсивным артиллерийским огнем, продолжал насеждать.

Против центра позиции и на левом фланге тоже шли атаки. От окопов оставалось одно воспоминание, а полк понес такие потери, что батальоны сократились наполовину. Вступив в бой с почти полным составом офицеров, полк насчитывал теперь на все четыре батальона не более 10 офицеров.

Надо было быть готовым на все, и я дал штабу полка указание, куда отойти. Батальоны знали раньше о направлении своего отхода на новую позицию.

При себе я оставил только офицера для связи, поручика Рыбина, приказав вестовым с нашими верховыми лошадьми скрыться в ближайшей молодой роще.

Влиять на ход боя я в эти минуты более не мог. Мне показалось, что я чего-то не сумел выполнить, что не все возможное было сделано и что я с позором «провалился» как командир полка. С этой мыслью, граничащей с отчаянием, пересекал я поле, как вдруг уви-

дел, что какая-то часть, вероятно, рота, не Козловцы, в беспорядке «утикает» в тыл без офицеров.

Я бросился к этой роте, как к последнему средству, посланному судьбой. Остановив людей и накричав на них, я приказал Рыбину привести роту в порядок, развернуть и вести в направлении на парк и замок Мезенец, к которым — я был уверен — должен был с другой стороны приближаться противник.

Наступление это, совершавшееся по открытому полю, сейчас же было замечено австрийцами, и они обстреляли нас шрапнелью. Они не могли видеть превращения отступавшей роты в наступавшую, так как перехватил я ее в кустах и в роще, и ее появление из-за этих закрытий должно было казаться им подходом свежего резерва.

Рыбин через несколько минут был ранен в голову (к счастью, довольно легко, как оказалось впоследствии) и должен был покинуть строй. Но пущенная вперед рота выполнила свою задачу и окопалась наспех по сю сторону господской усадьбы, преграждая дальнейшее распространение противника вглубь нашей позиции. День начинал клониться к вечеру. Я присоединился к нашим лошадям и, выждав, пока шрапнели перестали обсыпая нас пулями и ветками, сел на лошадь и поехал на новую позицию полка. Въехал я на нее спереди, так сказать, со стороны неприятеля! В штабе полка обрадовались, увидев меня, — там начинали тревожиться за мою участь. Успокоились они, успокоился и я, убедившись, что полк занял новую линию, как говорилось официальным языком, стройно и в порядке. Уступили мы противнику на пятый день жестокого боя всего-навсего около километра-двух в глубину, потеряв только наше выступное положение и выпрямив общую линию.

Австрийцы, понесшие, очевидно, тоже большие потери, достигнувшие успеха главным образом благодаря своей артиллерии, не преследовали и удовлетворились занятием района Мезенец.

Не посыпались на голову Козловцев с их новым командиром и громы со стороны старшего начальства. Наоборот, оно оказалось довольно: стратегически удалось задержать наступление численно превосходного противника, рассчитывавшего на решительные резуль-

таты; слабый Козловский полк на растянутой позиции сделал в этой операции гораздо больше, чем можно было ожидать.

На другой или третий день, когда наступило очевидное боевое затишье, в полк приехал П. Д. Шипов. Он неожиданно вошел в амбар, в котором, на задворках какой-то деревушки, приютился штаб полка. Шипов сказал мне, что получил мой подробный рапорт о пятидневном бое, что читал его с волнением и проникся почтением к боевой работе полка.

— Что касается до его славного командира, — прибавил он, дружески меня обняв, то я низко кланяюсь ему и сочту своим долгом представить вас, Борис Владимирович, к высшей боевой награде.

Затем Шипов обошел по окопам роты; увы, их стало восемь из прежних шестнадцати, так как я вынужден был свести понесший большие потери полк в два батальона при 10 офицерах. Шипов умел просто и искренно говорить с солдатами, не подделываясь под псевдопростонародный язык, и не играл в Суворова. Он сердечно поблагодарил уцелевших офицеров и солдат за доблесть в бою. В дальнейшем моем командовании Козловцами, а потом Измайловцами, ни один из начальников дивизии (Шипова в 31-й дивизии скоро сменил Генерального штаба генерал Поликарп Кузнецов) не утруждал себя благодарить людей за боевую службу, которая стоила благодарности старшего начальства. Только корпусной командир — старик Безобразов приехал нарочно в Измайловский полк поблагодарить его за Красностав...

Как бы обещав мне «высшую боевую награду», то есть Георгиевский крест, Шипов натолкнулся, по видимому, в своем штабе на противодействие, в результате которого меня представили не к кресту, а к Георгиевскому оружию.

А когда эта награда была объявлена (без малого через год), я с величайшим удивлением прочел описание подвига полка, — до того он оказался искаженным. Говорилось об отражении непрерывных атак превосходных сил противника и удержании позиции в течение почти двух недель (с 4 по 23 октября) с переходом в контратаки и со взятием 150 пленных и пулеметов. На самом деле никаких повторных атак после 8 октя-

брю австрийцы не производили; мы заняли новую позицию спокойно, без помех, и все части дивизии успели на ней укрепиться. Так мы и простояли, вернее, просидели, вплоть до смены, состоявшейся в последних числах октября. Противник ограничивался довольно редким артиллерийским обстрелом, скорее пристрелочного характера.

Размазав и расплющив бой во времени, умолчав про трудности, в которых он велся в течение пяти дней, когда артиллерия противника нас косила, а мы отбивали атаки главным образом штыками, штабные редакторы представили дело бесхарактерным и бледным. Шипов же, как я уже говорил, находился в этой области штабного писательства в руках своего начальника штаба *).

Остаток пребывания 31-й дивизии под фортами Перемышля ознаменовался для Козловского полка только тем, что как-то, после передвижения его на новую высоту, австрийская 12-дюймовка чуть не взорвалась на воздух штаб полка в полном его составе. В тот период войны практика устройства глубоких блиндажей на русском фронте, особенно в Галиции, еще не пустила корней. Погода оставалась хорошей, и штаб полка расположился вблизи опушки леса на вершине высоты, соорудив из ветвей легкий шалаш. Он способен был защитить лишь от дождя и отчасти от ночного холода.

В одно утро, когда весь штаб и командир сидели в этом декоративном павильоне, мы сначала услышали протяжный бас «идущего» 12-дюймового снаряда, а затем глухой удар, разваливший наш картонный домик и произведший маленькое землетрясение. Снаряд попал в откос горы как раз в створе шалаша, в нескольких от него шагах. Но «паровоз» не разорвался, лишь глубоко зарывшись в землю!

Мы ушли после этого предупреждения немного глубже в лес, построив другой цыганский навес; пробы-

*) В 1914 и 1915 гг., командуя 74-й дивизией в Карпатах, в письме к Грекову (своему бывшему начальнику штаба, а в 1915 г. — начальнику штаба I-й гвардейской пехотной дивизии) Шипов просил кланяться «Борису Геруа, геройское командование которого Козловцами он так хорошо помнит» (Слова привожу примерно).

ли в нем несколько дней, пока полковые саперы не соорудили еще дальше в тылу, в том же лесу, настоящий блиндаж, солидное и комфортабельное, даже отапливаемое подземное помещение, в котором можно было даже рискнуть раздеться. Это был мой первый серьезный блиндаж на войне, не считая тех легкомысленных, которые я описал выше, рассказывая о бое на «лысине».

После смены дивизия выступила походом обратно к нижнему Сану, на север. Это заняло несколько дней. Как и прежде, полк следовал самостоятельно и мы не встречались с другими полками дивизии. Раз или два нас обогнал Шипов, когда полк отдыхал на привале. Солдаты получали горячую пищу, которая была сытна и превосходна, а офицеры закусывали, расположившись пикником на лужайке не без удобства и хозяйственно. На это был мастер Пургасов, страстный охотник, привыкший уютно раскладываться в поле в любых условиях.

— Как у вас мило и славно, — похвалил Шипов; — я заметил, что полки, которые умеют устраиваться хозяйственно, и дерутся хорошо!

Подходя к Сану, полк должен был пройти мимо штаба нашего корпуса, — 10-го, — в подчинение к которому дивизия возвращалась. Командир корпуса Протопопов со штабом пропустил полк, здороваясь с ротами. Два батальона вместо четырех, но люди имели подтянутый и бодрый вид; играла музыка; четко отбивая ногу и молодежато повернув головы на начальство, Козловцы проходили с сознанием честно исполненного боевого долга.

Поход этот был приятен. Солдаты могли размяться после сидения в окопах на позиции. Погода не изменяла, оставаясь солнечной и сухой. Красивая местность в предгорьях Карпат, холмистая, с рощами в их позднем осеннем уборе, начинавшем спадать на землю и покрывать ее желто-красными пятнами все гуще и гуще, доставляла удовольствие. Время от времени на какой-нибудь попутной горушке показывался стройный силуэт тонконогой козы, и тогда Пургасов с досадой восклицал: «Вот бы где поохотиться! Было бы у нас седло козы на ужин!».

В конце концов дивизия осела на восточном берегу

Сана, к югу от Ярослава; она была назначена в резерв, с тем чтобы зализать раны, нанесенные ей под Перемышлем, и получить пополнения. В это время другие наши войска 3-ей армии, снова отбросив австрийцев от Сана, выдвинулись примерно на переход вперед, на западный его берег.

Я не помню точно названия большого галицийского села, в котором поставили полк на самом берегу реки, но имя этого села было совершенно русским. Село опускалось к Сану с высоких скатов и, кажется, соответственно называлось Высоцким. Большинство населения в нем было «русинским», то есть попросту говоря, русским. Крестьяне говорили на наречии похожем на малороссийский язык и одевались как хохлы, особенно бабы и девки. В селе красовалась большая каменная церковь, — униатская, то есть в своем существе православная; по крайней мере мы не замечали в службе особой разницы, и солдаты отправлялись в эту церковь командами, так как это делалось в России. Население казалось зажиточным, в отличие от многих русинских деревень, которые мы проходили в Восточной Галиции и которые поражали своей бедностью и забитостью. Этим относительным благосостоянием объяснялось то, что храм был довольно хорошо украшен внутри и содержался в порядке.

Роты быстро завязали дружеские отношения с крестьянами, одноплеменность которых была очевидна. В церкви наши певчие усилили местный хор и ввели в конец службы русское многолетие с провозглашением здравия «Благочестивейшему Государю нашему Императору Николаю Александровичу», «Императрицам» и «Всему Царствующему дому». Местные хохлушки, наряжавшиеся для церкви в пестрые блузы, ленты и юбки, пели это многолетие не только хорошо, но и с видимым увлечением.

В селе находилась еще усадьба какого-то польского пана, бросившего дом перед приходом русских и отступившего вместе с австрийцами. Во время боев в этот дом попал австрийский снаряд, пробил дыру в стене гостиной или столовой во втором этаже и разорвался на паркете, образовав в нем большое зияющее отверстие. Помещик, впрочем, позаботился заблаговременно увезти куда-то почти всю мебель и обстановку, так

что дом казался внутри казармой, несмотря на архитектурные претензии.

Мы простояли в Высоцком не менее недели в первых числах ноября. За это время австрийцы перестали оспаривать линию Сана и широким фронтом отступили за Карпаты, намеренно оторвавшись от нас и заставив потерять соприкосновение. Это был очевидный стратегический ход. Как мы скоро увидим, противник подготавливал удар на левом берегу верхней Вислы, опираясь на Краков. Очищение Западной Галиции и уход за Карпаты имели в виду отвлечь наши силы от Привислинского театра.

Но эти заключения тогда не могли входить в узкий кругозор командира полка. Нам сказали, что австрийцы отступают и что мы их преследуем. 31-я дивизия тронулась с места, переправилась еще раз через Сан и направилась в общем направлении на Ясло. Поход носил мирный характер. Никаких встреч с противником не происходило. Любопытно, что один из ночлегов полка пришелся на ту самую деревню, в которую я впервые приехал к полку в конце сентября, и что штаб полка остановился в доме того же самого ксендза.

По мере приближения к Ясло местность становилась гористее и живописнее. Мы вступали в предгория Карпат. Становилось холоднее.

Ясло — довольно большой и благоустроенный город — проходили днем, весело маршируя под музыку. Жители высыпали из домов поглазеть на москвитов. Так же, вероятно, пропускали они мимо себя несколько дней перед тем какие-нибудь австрийские части, шедшие в горы.

По их следу втянулись в горы и мы. Остановившись на дневку в деревушке по дороге в Зимгород, мы считали, что пойдем и дальше. Куда? Вероятно, за Карпаты. Зная только то, что происходило на пяточке, в ближайшем соседстве, полк считал, что не сегодня-завтра, преследуя противника, он перевалит через главный хребет в Венгерскую равнину.

Между тем сразу наступила зима. Выпал снег, и стало морозно.

Но идти за Карпаты нам не пришлось. В этой деревушке, которую уже следовало назвать горной, был получен приказ: ввиду сильной атаки австрийцев от Кракова вдоль Вислы, следовать туда на поддержку. Расстояние было большое, но перебросить войска на север по железным дорогам оказалось невозможным. Поэтому предстояло походное движение усиленными переходами, без дневок.

Шли мы по верху кряжа между рр. Вислока и Бяла, и слева от нас, на запад, тянулся другой, более высокий кряж. Он успел покрыться снегом, и в солнечную погоду переливался гаммою зимних красок. Движение было утомительным — 35-40 верст (до 50 килом.) в день, — но все же мы любовались этой чудесной панорамой.

Во время перехода я натолкнулся на сапожный вопрос. В зимних условиях обувь изнашивалась быстрее. Начали появляться бессапожные солдаты, и в ротах накапливались отсталые, которых приходилось везти на подводах. Никакой надежды получить сапоги из тыла, от интендантства, не было, а свои полковые запасы приходили к концу. Я вызвал своего заведующего хозяйством подполковника Ляпунова, с которым мы вообще держали частые конференции по вопросам довольствия полка. Офицер этот был совершенно на своем месте в этой хлопотливой и ответственной должности: щепетильно честный, законник, находчивый и решительный, но и чрезвычайно упрямый. Я предложил Ляпунову закупить на полковые суммы в городах столько сапог, сколько удастся (к счастью, галичане носят высокие сапоги), и образовать при обозе особый сапожный эшелон.

Я знал, что в полку состоял большой экономический фонд и что не может быть препятствия в деньгах. Но такая операция являлась, конечно, вмешательством в область интендантства, и, с точки зрения буквы, была незаконной. Я считал, что бессмысленно копить деньги только ради увеличения запасных сумм (обычное явление в полках во время войны при щедрых отпусках от казны) и что лучше истратить часть их на текущую насущную нужду, притом связанную с боевой готовностью полка.

Ляпунов стал на точку зрения буквы закона и

уперся. Мы едва не поссорились, но, в конце концов, порешили сознательно отступить от закона, причем я сказал: «Беру всю ответственность на себя, и когда нас с вами, Александр Михайлович, притянут после войны к суду, я скажу, что заставил вас исполнить мое приказание».

Ляпунов по-джентльменски возразил: «Ответим вместе», — и затем, с присущими ему энергией и организаторским талантом превосходно наладил сапожный вопрос. Через каких-нибудь два дня кризис миновал. И больше не было отсталых.

При подходе к Висле Козловский полк с двумя батареями назначили в авангард дивизии. Остальные три полка следовали по той же дороге в положенном расстоянии сзади.

Полк пересек Вислу по легкому понтонному мосту где-то между устьями Дунайца и Вислоки. На реке начался ледоход перед тем, чтобы сковать ее льдом на зиму. Едва мы успели переправиться, как лед сорвал и разбросал понтоны. Авангард оказался отрезанным от главных сил. Положение это продолжалось дня два-три, пока не навели с большим трудом другой мост.

Между тем Козловцы прибыли в тыл того района где шел упорный бой и где могла потребоваться наша помощь. Однако в тот самый вечер какой-то полк удачной ночной атакой далеко отбросил напиравших австрийцев и даже захватил штаб неприятельского полка с командиром. Наша помощь не понадобилась.

Когда на северный берег этого участка Вислы перешла вся дивизия, она приступила к выполнению дальнейшего движения в северном направлении. Козловцы по-прежнему составляли авангард. Выступили вечером. Находясь в голове колонны, я получил донесение, что к хвосту колонны и к обозу 1 разряда подъезжал командующий 3-й армией Радко-Дмитриев, спрашивал обо мне и приказал мне кланяться.

Ночной марш наш представлял один из примеров плохой налаженности штабной работы. Считалось, что мы имели противника впереди и собирались его атаковать. Мне было приказано «овладеть» д. Ивановкой,

где предполагались австрийцы. По приказу можно было заключить, что слева у нас, со стороны фортов Кракова, нет ни неприятеля, ни своих! Я последовал установленной для себя привычке вести деятельную разведку полковыми средствами. Очень скоро, на походе, из донесений моих конных разведчиков мне стало ясно, что мы идем по тылам сплошной линии наших войск, обращенных лицом на запад и ведших бой. Наконец мне дали знать, что мы проходим вблизи штаба пехотной бригады Н-й дивизии. Я сам проехал туда и получил подробную ориентировку.

Но вопрос д. Ивановки и предстоящей атаки этого селения оставался еще открытым. Наступила полная ночь. Мы дошли до какой-то деревни, отстоявшей от Ивановки в расстоянии, отвечавшем переходу от походного порядка к боевому. Но тут я получил донесение от своей передовой разведки, что она побывала в пресловутой д. Ивановке и что она занята нашим пехотным полком вот уже несколько дней!

Не без иронии донес я об этом открытии в штаб дивизии. У последнего были в распоряжении более богатые средства разведки, чем у командира пехотного полка, и он мог быть точно и своевременно осведомлен об обстановке в районе ближайшего перехода дивизии. На самом деле этот переход совершался в полной безопасности, надежно со всех сторон прикрытый, и являлся не фронтальным по отношению к противнику, а фланговым.

В ту же ночь я получил приказание сменить близости на позиции фанагорийских гренадер. Они только что, после двухдневного упорного боя, штыками отбросили венгров с одной важной высоты. Венгры — лучшие войска в австрийской армии — атаковали яростно, высота переходила из рук в руки, пока, наконец, в тот вечер Фанагорийцам не удалось окончательно утвердиться на этой позиции и продвинуть линию вперед.

На утро, по смене, мы могли воочию убедиться, какой это был жаркий бой и даже как именно он развивался. Трупы еще не были убраны с поля сражения и наглядно изображали, как сначала противник проник было в селеньице, которое находилось на самой вершине высоты, и как штыковой контратакой был снова

сбит с нее. Линии трупов схематически, точно на плане, показывали перебежки цепей и стремление неприятеля охватить высоту.

В деревушке на вершине, состоявшей из дюжины брошенных и разбитых снарядами домов, была в лицах изображена страшная сцена рукопашного боя. Фанагориец, проткнутый штыком, раскинулся рядом с венгерцем, в груди которого застряло русское ружье. Несколько таких же «говорящих» групп лежало тут в живописных неподвижных позах батальной картины. Был конец ноября. Снег в этой части Галиции еще не выпал, но крепкие утренние морозы уже начались. Почва была тверда, как железо, и убитые были покрыты тонким белым слоем инея. Благодаря этой погоде, над полем сражения, так густо обозначенным трупами, не чувствовалось никакого зловония. Один венгерец, очевидно, сползал с вершины горы назад на четвереньках, когда цельный русский снаряд пронизал его торс насквозь, распылив голову и образовав обугленную трубу в теле. Было поразительно, что человек не упал затем плашмя, а так и остался стоять на четвереньках.

На подступах к деревушке погиб от русской пули командир венгерского батальона, — моложавый майор. Можно было догадаться, что он храбро вел своих людей в последнюю атаку. Рядом с ним лежала обнаженная сабля. Он был одет в теплое, на меху, короткое пальто серо-синего цвета с дорогим меховым воротником. Из его походной сумки высыпались разные мелкие предметы, в том числе такие, которые говорили, что майор и в условиях войны был не прочь поухаживать, случайно, но осторожно. Теперь лицо его, точно припудренное инеем, бесстрастное и каменное, было обращено к небу.

Через какие-нибудь полчаса его тело раскатают Козловцы, назначенные для уборки трупов, над огромной братской могилой и полетит оно туда, чтобы с глухим звуком мешка с песком хлопнуться о слой тел, брошенных туда раньше... И унтер-офицер Козловского полка, стоящий на краю открытой ямы для счета погребаемых, поставит еще одну черточку в свою книжку. Мы похоронили на той вершине, а также потом внизу, в роще, несколько сот австрийских трупов.

Что касается Фанагорийцев, то их тел оказалось

мало, так как гренадеры успели сами позаботиться еще ночью о своих убитых. Тех же, кто остались неубранными, мы положили в отдельную от австрийцев братскую могилу.

Над павшими гренадерами и над венгерцами отслужили православную литию и поставили кресты с надписью. Тем и закончили недавнюю боевую драму, разыгравшуюся на высоте, которая теперь находилась в тылу нашей козловской позиции.

Противник после неудачной атаки отступил к линии фортов Кракова. Мы продвинулись вперед, выравнявшись с соседями справа и слева.

На этой позиции полк простоял дней десять, если не больше. Боевого соприкосновения с противником не было, и нам никто не мешал заниматься укреплением окопов и разными улучшениями. Даже артиллерия австрийцев ничем себя не проявляла. За время этой стоянки произошел только один заметный — и притом досадный — эпизод. Через центр козловского участка пролегало прямое шоссе от одного из фортов крепости. Как-то днем, со стороны противника к нашим цепям подлетел открытый автомобиль с офицерами-австрийцами в качестве пассажиров. Это случилось так внезапно, что люди не сразу нашли, что сделать, а когда сообразили и схватились за оружие, было уже поздно. Автомобиль, влетевший в наше расположение, успел дать задний ход. Несколько пуль, пущенных ему вслед, не принесли вреда ни ему, ни седокам. Последние, вероятно, штабные офицеры, хорошо и весело позавтракавшие, должны были благодарить судьбу, что их автомобильная прогулка по шоссе кончилась так благополучно.

Козловцы же с досадой чесали у себя за ухом и говорили: «Головотяпы мы: знатную добычу выпустили из рук!».

За время стояния под Краковом, к северо-востоку от крепости, полк получил пополнение офицерами и солдатами; я смог снова развернуть его в четырехбатальонный состав.

Пока развивались события под Краковом и на путях к средней Висле, окончившиеся после многодневного боя поражением победоносной вначале австрийской армии Данкля, те австрийцы, которые в свое время скрылись за Карпатский хребет, вновь ожили. Как мы видели, необходимость существенно поддержать нашу операцию на Висле заставила нас почти наголо очистить Западную Галицию, оставив в ней только кордон заслонов и частей охранения и наблюдения. Это давало возможность Карпатской группе австрийцев перейти в наступление с юга против левого фланга и даже тыла наших армий, сосредоточившихся для контрудара в районе Вислы, в западном направлении, на Краков. Как раз в конце ноября, когда, казалось, наш контрудар увенчался полным успехом и Данкль был отброшен к Кракову, карпатские австрийцы смяли один за другим наши заслоны, прикрывавшие операцию с юга, и начали серьезно угрожать нашему левому флангу. Маневр этот мог свести на нет только что достигнутые, не без труда, наши успехи под Краковом.

Но по времени вспомогательное наступление австрийцев было согласовано плохо и оказалось запоздалым. Правда, оно вызвало у нас смущение и тревогу на несколько дней, пока армейский корпус (24-й?), прикрывавший наш фланг, подавался под напором превосходящих сил австрийцев на север и все ближе к Висле. Но там положение уже настолько упрочилось к 1 декабря, что можно было освободить 3-ю армию и, сняв ее с позиций, направить для ликвидации флангового удара Карпатской австрийской группы.

Чтобы обеспечить беспрепятственность и широту этого контрманевра, надо было отвести части сначала на восток, перехода на два, и, выиграв таким образом глубину и разбег, лишь затем начать наступление на юго-запад и на юг. Получилась операционная линия, сломанная под углом примерно в районе Сандомира.

Однако этот кружный угловой путь удлинял движение, а создавшаяся угроза требовала от 3-ей армии быстроты. Поэтому войска шли усиленными переходами, и, насколько помню, 31-я дивизия совершила предварительный марш в тыл к Сандомиру в течение одних суток. Помню, во всяком случае, что под конец этого перехода, ночью, я совершенно потерял чувство, где

я нахожусь, всецело завися от своей лошади; временами я крепко спал, сидя в седле, и даже видел сны!

Должно быть 2 или 3 декабря мы уже были на правом берегу Вислы. Боевые новости становились веселее: противник, наступавший между реками Дунайцем и Вислокой, встретив наши первые подкрепления потесненного фронта, стал заметно ослабевать и выдыхаться. Еще день-другой и он был сам вынужден к отходу под нашим напором.

31-ой дивизии пришлось вступить в боевую линию в этот период начавшегося преследования. Неприятель подавался широким фронтом в общем направлении на Тарнов, довольствуясь арьергардными боями. В начале этой операции на долю 31-ой дивизии выпала пассивная роль механического следования по стопам австрийцев, сумевших посредством одного усиленного ночного марша оторваться от нас и потерять соприкосновение. В виде трофеев доставались нам лишь отстающие или заблудившиеся австрийцы.

Поворотным днем, оживившим этот довольно бесцветный поход, вдруг — и совершенно непредвиденно — явилось 6 декабря.

Вечером накануне части дивизии заночевали в тесном соприкосновении с австрийцами на позиции.

Козловский полк находился в резерве и провел ночь на квартирах, неподалеку от деревни, где стоял штаб 31-й дивизии.

Утром 6-го пришло неожиданное и радостное известие: Воронежцы на рассвете атаковали противника, расположенного против них, прорвали фронт, захватили участковую артиллерию и многочисленных пленных, целые батальоны со всем их начальством.

Вскоре эти серо-синие колонны австрийцев, почти без конвоя, появились в селении, где стоял штаб дивизии. Проходили они бодро и весело, зубоскаля и перебрасываясь шутками с русской солдатней, высыпавшей поглазеть на живые трофеи.

Все эти пленные, без исключения, оказались чехами.

Успех Воронежцев имел мелкое тактическое значение, так как дивизия в этом полковом предприятии не принимала никакого участия и в последовавшем затем общем преследовании не развила того, что было до-

стигнуто на коротком фронте одного полка. Это не помешало штабу дивизии, с генералом Кузнецовым и полковником Б. К. Казановичем во главе, донести наверх об этой операции телеграммой в красках особого пафоса : победа прилась на день полкового праздника Воронежцев и на день именин Государя. Взятые орудия и пленные повергались к стопам Его Величества в виде именинного подарка, а бой изображался как лучший способ отпраздновать полковой праздник.

Телеграмма эта, быстро переданная в Ставку Верховного Главнокомандующего (Барановичи), пришла туда во время посещения ее Царем. После обычной в день 6 декабря церковной службы — теперь в походной церкви — депеша была поднесена Государю Великим Князем Николаем Николаевичем.

Высокий именинник, тронутый этим приятным совпадением победы с днем его Ангела, в ответной телеграмме объявил благодарность полку — имениннику, а его командира, полковника Энвальда, поздравил кавалером ордена св. Георгия 4 ст. Случай оказался одним из тех счастливых и редких, когда награждение совершенно избегало хождения по канцелярским мукам и совершилось с быстротою рикошета.

На как же могла состояться атака одного полка, самостоятельно, под единственным предлогом боевого празднования дня полкового святого, Николая Угодника?

Официальный рассказ, сделавшийся немедленно известным, гласил, что Энвальд попросил по телефону, в ночь на 6-е, разрешения произвести атаку на своем участке, ручаясь за успех. Штаб дивизии возражал и колебался, но Энвальд настаивал. В конце концов ему разрешили, возложив на него всю ответственность за предприятие.

Результат превзошел ожидания самого Энвальда и привел в восторг штаб дивизии.

Но через несколько дней после боя просочилась другая версия этого оригинального дела.

Поздно вечером 5 декабря, на фронте Воронежского полка перебежало несколько солдат-чехов. Они сообщили, что являются посланниками чешского полка, который занимает позицию против Воронежцев. «Если вы атакуете нас перед рассветом, — заявили они, —

полк не окажет никакого сопротивления, а офицеры и солдаты сдадутся в плен.

Энвальду оставалось решить, — довериться ли этому жесту славянского братства, передаваемому устами перебежчиков, или воздержаться от понятного соблазна легких победных лавров?

Мы знаем, какое решение принял и привел в исполнение командир Воронежцев. А также то, что, не воздержавшись от этого соблазна, он все же искусно воздержался от сообщения в штаб дивизии предварительных переговоров с перебежчиками-чехами. День Николая Угодника подвернулся как нельзя более кстати, и Чудотворец, — знаменитый русский Патрон Святой Руси, отблагодарил мудрого Энвальда и его Воронежцев за находчивость.

Но пройдет всего три дня, и Воронежцы создадут помимо своей воли новый интересный случай, который повлечет за собою более сложное, запутанное и несправедливое разрешение.

8 декабря дивизия, продолжая следовать на юг за отступавшими австрийцами, подходила к длинному, высокому лесистому кряжу, через который предстояло перевалить из одной долины в другую. Дорог через хребет было достаточно, что допускало движение широким фронтом мелкими полковыми колоннами.

31-ой дивизии предстояло наступать с утра 9-го, составляя правый фланг 10-го корпуса; левее должна была двигаться 9-я дивизия этого корпуса. Правее 31-й дивизии, несколько уступом позади, наступали части другого корпуса (какого — не помню; быть может ближайшими частями были полки 33-й пехотной дивизии).

Наступление началось, согласно этому порядку, ранним утром 9 декабря. В правой колонне дивизии шел 124-й пехотный Воронежский полк; в средней и левой колоннах — полки 1-й бригады дивизии.

123-й пехотный Козловский полк оставался в дивизионном резерве и должен был следовать по пути Воронежцев, держась от их главных сил в расстоянии нескольких километров.

В полку налицо состояло 3 батальона, так как 4-й, батальон (также и по номеру) был выделен в тыл, в смешанный корпусной резерв.

В то время как остальные полки дивизии уже шли

в походных колоннах, довольно беззаботно поднимаясь в гору и переваливая затем через хребет (считалось, что противник находится в полном отступлении), Козловцы только немного продвинулись по дороге Воронежского полка и остановились в районе д. Ионины. Нужно было выжидать, пока главные силы Воронежского полка отойдут вперед на требуемое расстояние.

Штаб дивизии, также выжидая, не трогался с места и оставался в той деревне, где ночевал с 8-го на 9-е. Она находилась километрах в 4-5 позади временного расположения Козловского полка.

Ввиду того, что мы производили марш, проволочная связь была снята, и связь поддерживалась только конными разведчиками. Приостановка дивизионного резерва, то есть Козловцев, не могла быть продолжительной, рассуждал штаб дивизии, почему он не позаботился о сохранении телефонной связи и с этим своим резервом.

Между тем в направлении Воронежского полка и вправо началась артиллерийская стрельба. Был, вероятно, десятый час утра; может быть немного позже.

От моих разведчиков скоро пришло донесение, что Воронежцы перевалили через кряж, но что произошла какая-то заминка.

Обо всем этом я послал записку в штаб дивизии с просьбой указать, что мне делать в случае боя, признаки которого я наблюдал поблизости.

В ответ пришло категорическое письменное приказание: «Считать себя в распоряжении начальника дивизии и ничего не предпринимать без его приказа».

Однако во время этой переписки обстановка впереди, на кряже, явно изменилась к худшему. Розовые австрийские шрапнельные разрывы стали пачками показываться над лесистыми вершинами хребта и были отлично видны с того места в тылу, где я находился. Разрывы эти угрожающе придвигались все ближе и ближе к нам. Еще до получения приказа начальника дивизии я счел необходимым приготовить полк ко всяким случайностям и развести свои три батальона на такие интервалы и дистанции друг от друга, чтобы из этого положения легко было произвести любое развертывание для боя. Мало того, свой 1-й батальон я подо-

двинул, по пути Воронежцев, поближе к перевалу, по ту сторону которого сейчас, в одиннадцатом часу утра, не все для нас «обстояло благополучно».

Шум боя становился громче. Он расширялся и приближался. Становилось несомненным, что противник внезапно атаковал на марше как правую колонну 31-й дивизии, так и части соседней дивизии чужого корпуса.

Видеть, слышать все это и сидеть смирно, покорно, безучастно, по записке штаба дивизии, который оставался нелюбопытным, слепым и глухим, — я не мог.

Я решил прежде всего лично убедиться в положении вещей в районе перевала, предварительно послав приказание командиру 1-го батальона, уже нацеленного в этом направлении, быть на-чеку и, если нужно, атаковать во фланг противника, действующего против Воронежцев.

Сам я со штабом рысью поехал на перевал.

Здесь я застал следующую картину :

Среди деревьев и кустов, по лесной дороге на самой вершине этого участка горной цепи, слева — конная группа, едущая назад, в тыл : командир 2-го дивизиона 31-й артиллерийской бригады полковник Веверн, окруженный своими офицерами; по лицу Веверна текут из-под фуражки кровавые струйки; справа — несут в тыл носилки, на которых лежит чье-то тело, покрытое офицерской шинелью. Это — командир 6-й батареи капитан Дросси, мой недавний ученик по Офицерской Артиллерийской Школе, живой и способный офицер. Спрашиваю : « Ранен? » « Никак нет, убит ».

Веверн объяснил мне потрясенным голосом : венгры смяли Воронежцев, дивизион оказался беззащитным в первой линии, офицеры отстреливались из револьверов, две батареи удалось отвести назад, но 6-ю батарею пришлось бросить, вынудив замки из орудий. Во время этой короткой схватки и был убит бедный Дросси, а Веверн и еще кое-кто из офицеров ранены мелкими осколками шрапнели.

Пока я слушал этот короткий и неприятный рассказ, из густых зарослей по противоположному скату высоты выбежал на меня, едва я успел спешиться, командир 3-ей роты Козловцев капитан Калишев. Первый батальон исполнил мое приказание, дававшее ему

свободу атаковать по обстановке, и его левофланговая рота, 3-я, успела спуститься по ту сторону перевала. Там, лихорадочно объяснял мне Калишев, она натолкнулась на нашу батарею, на которой уже хозяйничали австрийцы. Что я прикажу делать?

Я приказал единственно нужное и возможное: немедленно атаковать этих австрийцев и вернуть батарею. Железо необходимо было ковать, пока оно горячо, пока это были первые австрийцы на батарее.

«Нельзя терять ни минуты, — сказал я Калишеву и прибавил: — отбейте батарею, идите в штыки, и я обещаю вам Георгия. С Богом!».

Очень удачно, что именно Калишев случайно оказался со своей ротой на этом участке в эти тревожные минуты. Это был офицер выдающейся храбрости, уже успевший получить с начала войны, за 3 месяца, несколько ранений, залечив которые, он немедленно возвращался в строй.

Калишев лихо выхватил из ножен свою шашку и побежал обратно к роте. Почти сейчас же в скрывших его маленькую фигуру зарослях раздалось его «ура», поддержанное ротой. Я знал, что она пошла в штыки без выстрела и что от батареи ее отделяли какие —нибудь 100-150 шагов.

Вдали, налево, слышалась ружейная перестрелка, вероятно, у Воронежцев. Справа, где должны были находиться теперь остальные три роты первого батальона, не доносилось из лесу ни звука. Я снова сел верхом и поехал в эту сторону.

Скоро меня встретил на опушке командир батальона подполковник В. П. Пьянов-Куркин (тогда еще капитан) — тоже отличный боевой офицер, мужественный, решительный и распорядительный. Он доложил мне, что удар его пришелся как раз вовремя: венгры взобрались лесом на хребет и выходили на опушку. Еще несколько минут, и они могли бы начать распространяться в охват правого фланга нашей дивизии и вразрез между двумя наступавшими корпусами.

Атака Козловцев захватила венгров врасплох, они дрогнули и были прогнаны за лес, потеряв пленных (в том числе батальонного командира), раненых и убитых. Несколько венгерцев еще лежало тут же на земле; один — пронзенный на смерть штыком. Была видна ра-

бота и прикладов. Поле сражения, можно сказать, еще дышало недавней рукопашной схваткой.

Пройдя с Куркиным к его ротам, я убедился, что они достаточно продвинулись вперед, чтобы обеспечить удержание высоты и, в случае нужды, отбить контратаку противника.

Но последний мог еще спуститься с другой лесистой вершины, еще далее вправо; тут он встретил бы мой 2-й батальон, который я, следуя на первый перевал, выдвинул к этой второй высоте.

В общем, все кончилось удачно: Калишев прогнал венгров с батареи, захватив пленных. Появление Козловцев на крыже и на подступах к нему и их атака остановили наступление противника и разрушили его план.

Между тем вначале он обещал много: Воронежцы были застигнуты врасплох и должны были второпях перестраиваться из походной колонны в боевой порядок, повернувшись к стороне открытого фланга на 90°. Батареи находились в середине колонны и потому сразу оказались в первой линии и были атакованы. Пока удалось, отступая, выделить резервы вглубь и организовать позиционную оборону, обстановка для нас была критической. В это беспорядочное время мы и вынуждены были бросить 6-ю батарею.

Притихли боевые шумы постепенно и правее, на фронте соседнего корпуса. Что касается Воронежцев влево, то они, зацепившись за ряд высот, остановились и отбили дальнейшие атаки противника огнем. Поправлять и налаживать дело на этом участке штаб дивизии из своего неподвижного «далека» командировал генерала Саввича. Саввич, в своей должности бригадного, играл как бы роль активного боевого помощника канцелярского начальника дивизии и неизменно посылался туда, где обстановка портилась и становилась угрожающей.

Саввич своими глазами видел, между прочим, атаку 3-ей роты Козловцев на захваченную было венграми нашу 6-ую батарею. Впоследствии это пригодилось, как увидим; но еще более важной оказалась мудрая предусмотрительность Калишева, который сдал батарею артиллеристам под расписку. Для принятия ее с наступлением темноты прибыли с орудийными замка-

ми только унтер-офицеры и бомбардиры (показалось странным, что не прислали офицера). Калишев настоял на выдаче ему письменного удостоверения, что орудия приняты в полном порядке, как они были оставлены — без замков. Этому клочку линованной бумаги, вырванному из чьей-то записной книжки, и неуверенным строчкам полуграмотного артиллерийского унтер-офицера (фейерверкера) Козловцы, вообще, и Калишев, в частности, были обязаны затем, в последующие дни и даже месяцы, восстановлением правды вокруг этого грустного эпизода с батареей.

Поздно вечером, когда бой повсюду стих и обе стороны так или иначе приготовились к ночлегу, я получил приказ из штаба дивизии произвести ночную атаку противника, удержавшегося на соседней справа высоте.

Предприятие это, мысль о котором была, очевидно, внушена дневным успехом Козловского полка, могло повести к печальным результатам. Австрийцы и мы остановились друг против друга в лесу. Никаких предварительных разведок подступов к позиции неприятеля Козловцы не произвели и не имели на это времени. Наступившая декабрьская безлунная ночь набросила на лесистый кряж свой непроницаемый черный покров. Вести людей в атаку в этой тьме и через лес, еще более затруднявший связь и управление, значило подвергнуть полк риску поражения. Это было бы слепое движение очертя голову и могло привести к совершенно бесполезным потерям и расстройству. Между тем одержанный нами 9 декабря успех обошелся полку, к счастью, очень дешево. Потери были незначительны.

К тому же атака эта ничем не вызывалась, кроме желания пожать новые лавры. Правда, австрийцы сидели рядом на высоте, но они были с двух сторон прочно закупорены Козловцами. Если бы противник продолжал цепляться за этот уединенный пункт, можно было бы через день-другой сбить его с него, подготовив атаку на основании тщательных разведок позиции и силы ее занятия.

Будущее показало, в какой степени торопливый приступ был бы бесполезен.

Пока же мне пришлось выдержать настоящий бой по телефону со штабом дивизии. Начав доказывать

опасность атаки в сравнительно спокойных тонах, но натолкнувшись на тупое упрямство начальника штаба дивизии, я вспылil и сказал: «До тех пор пока я командую полком, я отказываюсь вести людей в этих условиях на убой и на почти верную неудачу; если вам угодно настаивать на этом приказе, прошу отчислить меня от командования полком».

И оборвал разговор.

От командования отрешен я не был, а атаку отменили.

Контрнаступление противника, захватившее нас врасплох, имело только тот результат, что остановило наше преследование на довольно широком фронте и заставило от походного порядка перейти к обороне.

Австрийцы, с другой стороны, будучи отбиты 9 декабря, тоже насторожились оборонительно. По-видимому, у них не хватало свежих резервов, чтобы возобновить атаки. В нашей же активности они могли усмотреть, что мы располагали такими резервами.

Как бы то ни было, мы простояли так друг против друга еще три дня, ничего не предпринимая и как бы выжидая, — кто первый тронется с места.

Наконец 12 декабря я получил приказ произвести, в связи с переходом дивизии в наступление, ту атаку, от которой я отказался 9 декабря. Теперь, во всеоружии разведок (в том числе моей личной), такая атака представлялась уместной и возможной. Она была назначена на рассвете 13-го. Но, когда в полутьме зимнего раннего утра, мы пошли к окопам неприятеля нас встретило молчание.

Австрийцы как раз в эту ночь отступили, маскируя свой отход огнем оставленных на время частей охранения. Скрытности отхода способствовала лесистость вершины и южных скатов хребта.

Нам оставалось продолжать движение по пятам неприятеля, который время от времени посылал в нашу сторону издалека, как бы оглядываясь, ружейные пули. Они посвистывали, но не вредили.

На этом заканчивается изложение маленькой боевой истории, заключающей в себе две импровизации: атаку Воронежцев 6 декабря при любезном содействии чехов и атаку венгров 9 декабря во фланг Воронежцам. Эта вторая импровизация чуть не обошлась дорого 31-й

дивизии и ее соседям справа. Своевременная, хотя и своевольная, атака Козловского полка спасла положение или, во всяком случае, явилась ценным тактическим вкладом в сумму усилий, спасших положение.

Посмотрим теперь, как эти факты представились в штабе дивизии и что из этого вышло.

Первыми вестниками событий на участке Воронежского полка в то памятное утро 9 декабря были члены конной группы офицеров-артиллеристов, которых я встретил на вершине едущими в тыл... Они доложили о нападении австрийцев на дивизион и о том, что офицеры отбили его огнем из револьверов. Окровавленное лицо командира дивизиона полковника Веверна являлось живой иллюстрацией. Но из рассказа выпало, очевидно, одно обстоятельство: что 6-я батарея не успела взять в передки и отъехать в глубину наскоро сформировавшегося боевого порядка и что эта батарея фактически была покинута с уносом замков и прицелов... Весьма возможно, что по пути в штаб дивизии артиллеристы получили уже сведение, что батарея отбита. Так или иначе, об этом эпизоде промолчали.

Штаб дивизии немедленно составил восторженное донесение о геройском поведении офицеров 2-го дивизиона. Телеграмма быстро побежала наверх и в тот же день была доложена Государю, который продолжал еще оставаться в Ставке Главнокомандующего.

Царь отозвался на это донесение так же импульсивно, как три дня перед тем на именинную атаку Воронежцев. В своей ответной благодарственной телеграмме Государь поздравил всех офицеров 2-го дивизиона 31-й артиллерийской бригады Георгиевскими кавалерами.

В числе получивших белый крест в этом ускоренном порядке, без Думы, оказался и тот офицер, который во время боя находился при парках, в нескольких верстах от поля сражения, и даже не имел понятия о его ходе. Носил он потом свой крест сконфуженно, под ироническими взглядами офицеров 31-й пехотной дивизии.

Когда в штабе дивизии получилось, вдогонку, донесение командира Козловского полка об атаке 1-го батальона, выручившей нашу 6-ю батарею из рук противника, этот рапорт произвел неприятное впечатление.

Удостоверить совершившееся значило для начальника дивизии, командира корпуса и т. д. отвергнуть версию артиллеристов или внести в нее существенную поправку. Как сделать это теперь, после Высочайшей резолюции и экстраординарной награды офицеров 2-го дивизиона за спасение всех трех его батарей? Порешили просто: набросить канцелярскую вуаль на дело Козловского полка, — точно его и не было. К тому же командир полка, как начальник дивизионного резерва, провинился, самовольно выйдя из непосредственного подчинения начальнику дивизии и нарушив его категорический приказ никуда не двигаться без приказа!

Саввичу впоследствии стоило немалого труда заставить Кузнецова с Казановичем приподнять эту вуаль, когда в штаб дивизии поступили мои представления к Георгию командира 1-го батальона Куркина и командира 3-ей роты Калишева. Ведь последнего я почти поздравил Георгиевским кавалером, посылая его в атаку.

К счастью, оба офицера получили, в конце концов, заслуженные ими заветные кресты. Расписка артиллерийских унтер-офицеров тут очень пригодилась.

Представил к этому ордену Саввич, как начальник боевого участка, и командира Козловцев, обратив его «неповиновение» в «проявление частной инициативы, приведшей к победе». Существовал такой пункт в Георгиевском статуте. В этом представлении снова фигурировала, в копии, знаменитая расписка. Но, увы, она в данном случае не помогла, и представление, первоначальное и повторное, потерпело крушение в Думах. Удивляться этому не приходилось: начальник дивизии и корпусное начальство едва ли поддерживали козловскую версию искренно и с увлечением. Мне известно, что на рапорте Саввича насчет «инициативы» и пр. Кузнецов написал на полях примерно следующее: «Хорошо, что все так удачно кончилось, ибо нарушение приказа дивизионным резервом могло привести к пагубным результатам».

Итак, в дни 6-9 декабря 1914 г. на 31-ю дивизию выпал экспансивный дождь офицерских Георгиевских крестов. Но он не замочил меня!...

Уже после революции, осенью 1917 года, ко мне в

Петербург прибыл офицер Козловского полка с письмом, подписанным тогдашним командиром полка (тем самым Куркиным, который командовал у меня 1-м батальоном в бою 9-го декабря 1914 г.) и всеми наличными офицерами. В этом письме высказывалось «возмущение» по поводу того, что обошли Георгиевской наградой командира, которому было обязано славное дело Козловцев, — одна из лучших страниц их боевой истории. Я рад, что это своего рода полковое «свидетельство» на белый крестик сохранилось в моих бумагах, уцелевших после повального исчезновения во время революции всех документов, отмечавших мое прошлое. Трогательное письмо Козловцев, не имевшее никакого практического значения, выражало больше, чем мог сказать крест: коллективную оценку командира его бывшими сотрудами и однополчанами.

После 13 декабря мы еще несколько дней следовали за отступавшим противником, пока он не остановился на линии рр. Дунайца и Бялы, южнее Тарнова. Мы, то есть 3-я армия, снова своим левым флангом уперлись в проходы через Карпатский хребет. На фронте 31-ой дивизии против р. Бялы, в виде последнего штриха, решили отбросить австрийцев за эту реку и, таким образом, тактически улучшить нашу позицию. В боевой линии на этом участке стоял Козловский полк, и потому на него, а также, кажется, на Пензенцев, левее, легла эта задача.

Козловцам предстояло выбить австрийцев из д. Сташкувки, расположенной на высоте по сю сторону долины р. Бялы. Я решил произвести атаку на рассвете, стараясь захватить неприятеля врасплох. Если память мне не изменяет, сделали мы это под Рождество (ст. ст.). Австрийцы еще не успели как следует укрепиться, и быстрая, с налета, атака Козловцев удалась как нельзя было лучше. Наши потери оказались совершенно ничтожными, а противник оставил в наших руках много пленных и пулеметы.

Затем обе стороны начали серьезно окапываться и как бы устраиваться на зиму. Траншеи наши все же не получили такого солидного развития, как это установи-

лось на французском фронте и о чем нам сообщали, время от времени, сводки и брошюры, издававшиеся Ставкой. Только Пензенцы на своей лесистой горе — тактическом ключе позиции дивизии — постарались подойти к этому идеалу. Но укрепленные деревом их окопы и убежища были в самое короткое время разнесены и сравнены с землей в день решительной атаки Макензена 19 апреля 1915 года.

На своем участке я рассчитывал главным образом на маневр частных резервов в случае атаки и потому, вспоминая уроки Севастополя, боролся с идеей сплошной линии окопов. Тактика эта принесла плоды при нескольких мелких попытках австрийцев прорвать позицию Козловцев во время зимнего стояния.

Самой серьезной попыткой была атака 23 февраля 1915 г. на д. Сташкувку. Противнику удалось захватить участок нашей позиции, но штыковой удар батальонного резерва выбил австрийцев и принес нам трофей.

Здесь кстати отметить, что в моей боевой практике мне ни разу не привелось вести длинное огневое наступление на неприятеля. Все произведенные мною атаки были короткие, штыковые, и были построены на быстроте и внезапности. При численной слабости русской артиллерии и почти полном отсутствии тяжелых калибров, применение этого чисто пехотного способа неизменно давало требуемые результаты и сокращало наши потери. Но, конечно, для этого нужны были относительно небольшие дистанции, отделявшие нас от противника.

Во время зимы мы не страдали от холода. Несмотря на нахождение в предгорьях Карпат, климат для русского человека представлялся мягким.

Штаб полка довольно долго был расположен вблизи позиции, шагах в 800 от ближайших окопов. Это была крошечная деревушка, скорее хутор, незаметно приютившаяся в складке лощины, ведущей в нашу сторону от противника.

Над этой группой домов постоянно жужжали перелетные ружейные пули. Как-то в штаб полка прибыло 3-4 представителя Союза Земства и Городов. Мы угостили их завтраком, а затем повели показывать австрийцев. Для этого нужно было сделать только шагов

20, ибо из-за изгороди нашего двора позиция противника ясно виднелась даже простому глазу, а в бинокль и подавно. Штатские гости никак не ожидали такой близости, привыкнув, по-видимому, что полковые штабы находились в версте-двух от линии окопов. Пока земские посланники любовались в бинокль австрийскими окопами, в которых было заметно даже движение отдельных людей, что-то просвистало мимо их ушей. Просвистало и повторилось.

— Что это такое? — спросили одни.

— Пули, — ответили мы.

Гости заторопились в обратный путь и быстро нас покинули, хотя мы гостеприимно предлагали им пройти дальше в наши окопы.

Выжила штаб полка из этого уютного места, в конце концов, артиллерия противника. Она принялась периодически «ошпаривать» нас гранатами, — хутор и соседние горки. Иногда они проделывали это ночью, и на утро мы выходили смотреть на черные воронки, большими пятаками рисовавшиеся на ярко-белом снегу.

Впоследствии мы перешли в деревню далее в тылу, когда ее освободил штаб бригады.

За зимние месяцы позиционной войны вспоминаю два случая.

Было воскресенье. В походной церкви, при обозе 1-го разряда, шла служба, на которой присутствовал батальон, состоявший в резерве, и я с одним из офицеров полкового штаба. Церковь была устроена в большом амбаре. Служили истово, а певчие пели особенно хорошо и старательно. Обедня подходила к концу.

Вдруг в торжественный момент выноса св. Даров мы услышали густой и грозный шум медленно идущего «паровоза», то есть 12-дюймового снаряда. Было впечатление, что он летит прямо на нас.

Шум приближался. Священник побледнел, но голос его не дрогнул! Не дрогнули и голоса хора! Среди солдат никто не обнаружил волнения. Казалось, все затвердели.

Затем где-то в тылу раздался громовой удар. «Паровоз» действительно летел через нас, но нацелен был в штаб бригады. Упал он и вырыл огромную воронку совсем рядом со зданием школы, где помещался штаб и

где в то время чины его завтракали. Меткость была поразительная. В окнах школы выбило все стекла. Их осколками и мелкими осколками гранаты были ранены многие, в том числе А. С. Саввич и командир Воронежцев Энвальд. К счастью, легко.

Я немедленно по окончании обедни поехал в штаб бригады и застал Саввича и Энвальда садившимися в бричку, чтобы отправиться на перевязку. Ни тот, ни другой не эвакуировались и вскоре вернулись в строй.

Австрийцы стреляли изредка дорогими снарядами из этого крепостного орудия, которое, очевидно, установили на железнодорожной платформе и передвигали по рельсам, шедшим вдоль и позади их фронта.

Другой случай относится к области стрельбы из пушек по воробьям. В качестве воробья выступил я.

Я имел обыкновение, отправляясь с очередным визитом на позицию, брать с собою только одного конного ординарца. Мы следовали ложиной, которая вела примерно к центру позиции, доезжали до тылов и там оставляли лошадей хорошо укрытыми.

Как-то раз при посещении окопов 2-го батальона, обойдя эти окопы, я немного посидел у командира батальона, который угостил меня полевым завтраком. Затем я пошел к нашим лошадям, и скоро мы с ординарцем зарысили назад по ложине. Вдруг свистнул одинокий снаряд и в полуверсте впереди над ложиной разорвалась шрапнель. Мы продолжали движение.

Через несколько минут другая шрапнель шумно и эффектно разорвалась перед самой головой моей лошади. Приближения снаряда мы не слышали, так как были, очевидно, точно в створе траектории. Вы никогда не слышите той пули, которая в вас попадает.

Лошадь, окутанная дымом, бросилась в сторону. Ординарец спешился и подбежал ко мне. Но все обошлось благополучно. Если бы вместо маленького перелета это был маленький недолет, я получил бы весь заряд шрапнели, которая кончила бы мою жизненную карьеру! Известно, что сноп пуль и осколков шрапнели летит вперед.

Всю эту сцену видели офицеры и люди резерва, расположенного неподалеку. Им показалось, что я убит, и они даже предупредили об этом по телефону штаб полка.

Посидев с четверть часа в ближайшей хате и оправившись, я поехал дальше и вскоре обрадовал своим появлением офицеров штаба.

Очевидно, австрийцы видели, как я подъехал к позиции, может быть слышали, как люди отвечали в окопах на мое приветствие и решили подстеречь «командира». Первая шрапнель была пристрелочной. Когда мы подъехали к отмеченному месту, орудие выпустило шрапнель «на поражение». И, вероятно, с австрийского наблюдательного пункта представилось, что снаряд ловко подстрелил воробья!

Два слова о форме Козловского полка. Будучи третьим в дивизии, он имел белые околыши на фуражках и белые петлицы на шинелях. Погоны у солдат и просветы на золотых погонах у офицеров — синие (всегда у второй бригады, тогда как в первой — красные). На погонах и эполетах (дно на последних — синего сукна) — цифра «123».

Парадный мундир двубортный с белым лацканом. В отличие от гвардии, где все лацканы были красные (кроме четвертых полков в дивизиях), армейские полки имели лацканы по основному цвету полка; таким образом, Пензенцы имели красные, Тамбовцы — синие, Козловцы, как сказано выше, — белые и Воронежцы — темно-зеленые.

В парадном строю дивизии это должно было быть красиво.

Головной убор — небольшая папаха из серой мерлушки.

Ко всему этому пришли, незадолго до войны, ощущую и после нескольких лет проб и исканий.

Сначала заменили псевдорусский двубортный мундир без единой пуговицы и на крючках, двубортным с пуговицами. Затем, в 1911-12 гг. порешили отказаться от темно-зеленых мундиров в армии и иметь только форму защитного цвета «хаки». Сохранив однобортный китель этого цвета, нацепили на него, для парадной формы, фальшивый лацкан. Он пристегивался крючками изнутри, а его наружные пуговицы не играли никакой полезной роли. С точки зрения покроя это

была вопиющая бессмыслица. Выше пояса находился двубортный лацкан (хотя и фальшивый), а ниже виднелся разрез однобортного кителя. На обшлага пристегивались у офицеров при парадной форме галунные петлицы. Сложность и вздорность этих изобретений интендантского ведомства скоро были замечены, и тогда снова вернулись — для парада — к традиционным темно-зеленым мундирам описанного выше типа, против которого не могло быть возражений со стороны портных.

Как я говорил выше, в начале апреля 1915 г. меня вызвали из полка для исполнения должности начальника штаба 31-ой пехотной дивизии. Вернуться в полк после этого не пришлось. 9 мая состоялся Высочайший приказ о моем назначении командующим лейб-гвардии Измайловским полком.

О командовании Козловцами я уносил самые приятные воспоминания. За эти полгода мы были не в одной серьезной переделке, и я ни разу не имел случая пожаловаться, хотя бы про себя, на дух, воспитание и боевую надежность моих подчиненных, офицеров и солдат. Я получил от А. С. Саввича отличное наследство, и мне оставалось только поддерживать и возвращать то, что он насадил. Состав офицеров был более чем на высоте. Я всегда знал, что они поймут меня и помогут, — от сердца и энергично.

Я уже отметил выше И. И. Пургасова, В. П. Пянова-Куркина, А. И. Калишева и А. М. Ляпунова, как выдающихся офицеров. С благодарностью вспоминаю капитана Гальваса (командира 3-го батальона) и подполковника Н. *) с его скобелевскими баками и голубыми глазами.

Полковой адъютант Рязанцев, милейший юноша Рыбин, С. И. Васильев, Кременецкий и многие другие, фамилии которых, к сожалению, забылись, встают в памяти.

*) Кажется, его фамилия была Недригайлов. В начале революции в 1917 г. этот блестящий и умный офицер, командуя каким-то второочередным полком, погиб от рук солдат.

Хорошая закваска в спянном полку вела к тому, что и прибывавшие на пополнение прапорщики из штатских профессий очень быстро обрабатывались и превращались в настоящих офицеров.

Два из них, Разумов, банковский чиновник из Одессы, и Мазуров, коммерсант и скрипач, показали себя прекрасно во время «великого отхода» из Галиции и погибли героями. Мазуров штыками своей полуроты спас нашу батарею.

Пока мы сидели зимой в окопах, он часто давал там концерты на скрипке. Мы слушали его по телефону из штаба полка, а австрийцы — из своих окопов, показывая свое одобрение аплодисментами.

Что было замечательно в полку, — это наличие духа предприимчивости. Едва ли не самым видным представителем этого ценного духа являлся подпрапорщик, потом прапорщик и подпоручик Морозов. Это был большой и крепко сшитый, с рыжеватой бородой, крестьянин, природный вождь, ничего и никого не боявшийся, быстро заслуживший все четыре степени солдатского Георгия и затем офицерские погоны. Он почти в одиночку ходил по ночам «добывать языка» к австрийцам, как на медведя с рогатиной. В цепи он из принципа никогда не ложился, расхаживая с палкой под пулями, чтобы лучше видеть своих людей и поощрять к мужеству трусливых. Когда офицеры настаивали на том, чтобы он не держался, как мишень, Морозов самоуверенно отвечал: «Меня не тронут!». И, действительно, он очень долго успешно испытывал свою судьбу. Но в конце концов летом 1915 г. нашлась таки роковая пуля, которая сразила этого неподдельного героя.

Когда козловские офицеры узнали, что я уезжаю из дивизии, они пригласили меня на прощальный обед. Много офицеров не могло присутствовать, так как полк стоял на позиции, но все же выделили депутацию человек в 12. Присутствовал и прежний командир, теперь временно командовавший дивизией, — Саввич *).

*) В числе присутствовавших помню Владимира Павловича Пьянова-Куркина, которого встретил следующий раз через 4 года уже в эмиграции, в Париже. Я обрадовался ему как родному. Он сумел без знания французского языка сразу сделать-ся парижским «такси» и в возрасте 50-70 лет содержал своим

Погода была превосходная, раннего лета, и мы обедали где-то на воздухе, в садике галицийской деревушки.

Офицеры поднесли мне подарок, который меня глубоко тронул. Это был большой золотой хронометр с секундомером для ношения на руке. Трогательно было то, что они заблаговременно, несмотря на беспокойную боевую обстановку, командировали в Петербург подполковника со скобелевскими баками выбрать часы у Павла Буре! Трогательная и далекая от шаблона надпись на часах: по одному краю: «Мало прожито, но много пережито», а по другому — «Другу-командиру — Козловцы».

К счастью, ценный подарок этот, свидетельствующий о тесной связи, которая установилась у меня с офицерами, благополучно пережил все тревоги революции и беженства. Часы находятся при мне.

Осенью 1917 г. козловский посланник привез мне в Петербург, вместе с «Георгиевским свидетельством», в подарок от офицеров полковой нагрудный знак (белый эмалевый крест с арматурой) и маленькое его повторение для моей жены в виде золотой брошки.

Эта последняя, кажется, тоже сохранилась.

тяжелым трудом семью (жену и трех падчериц). Я не раз пользовался их радушным русским гостеприимством и меня забавляло, что Владимир Павлович — уже сам генерал-майор — относился ко мне, как батальонный командир к командиру полка! Рак свел его в могилу в 1939 году, перед новой войной. Это было человек редких душевных качеств, добрый, твердый, прямой, честный и чрезвычайно, до застенчивости, скромный. Такие люди встречаются в жизни не часто.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 31-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ

Вызвали меня в штаб 31-й дивизии около 1 апреля. Козловский полк находился в дивизионном резерве, пользуясь заслуженным отдыхом после непрерывной зимней стоянки на позиции. Дивизия с декабря держала участок линии по реке Дунаец (левый приток Вислы), к югу от г. Тарнова по направлению к Горлице.

Штаб дивизии был расположен в с. Розембарк, если не ошибаюсь, в доме ксензда. Напротив, в пяти минутах ходьбы, находился деревянный деревенский костел. В него по праздникам и в некоторые будние дни приводили из окрестных селений детей на так называемую «школу». Ксендз, с кафедры, преподавал им после службы или короткой молитвы не только нравственное поучение, но и хорошие манеры, — как чистить зубы, например, и т. п. Колонки детворы, змейками стекавшиеся в определенный час со всех окружающих пологих холмов в нашу котловину, были очень красивы, особенно когда яркое солнце играло на пестрых платьях девочек и мальчиков. Каждая цепочка шла под командой «тети» или двух, тоже приодетых по-праздничному.

Мы ходили иногда из штаба на эти беседы и невольно сравнивали культурное влияние светски-образованного католического духовенства на свою сельскую паству с тем беспорядочным, стихийным религиозным мистицизмом, который лежал в основе духовной работы русских деревенских священников, плохо обеспеченных и дурно направляемых.

Местность своим рельефом напоминала нам, что мы находимся на отрогах Карпатского хребта. Она была волнистой и открытой. Селения часто скрывались в

ее складках, и большие пространства казались поэтому пустыми.

Весна наступала рано. Уже в начале марта везде стаивал снег, а в апреле в воздухе разливалась ровная, приятная теплота. Холмы и деревья быстро зеленели.

Наслаждаться мягкой весною Галиции и пейзажем, слегка напоминавшим русскую Подолию, пришлось мне, однако, недолго.

В штабе дивизии я встретил мало мне до того известного генерала Кузнецова, начальника дивизии, и еще двух генералов: командира 31-й артиллерийской бригады Телешова и командира 2-ой пехотной бригады Александра Сергеевича Саввича. Со вторым я успел хорошо познакомиться и даже сойтись во время нашей совместной боевой работы осенью и зимой. В конце сентября, в период перехода дивизии со среднего Сана под крепость Перемышль мы с ним всегда помещались вместе на одной квартире. Виделись нередко в течение долгой позиционной стоянки под Тарновым и ежедневно разговаривали по телефону, когда Саввич был начальником нашего боевого участка.

Это был человек крепко и мужественно сшитый, умный, веселый и твердый. Эта твердость сказывалась как в его служебных отношениях, так и в его жизненных правилах и понятиях. Он терпеть не мог обиняков, обходных путей и соглашательства. Смотрел на вещи здраво, просто и прямо. Командуя Козловцами до меня, и еще в мирное время, он превосходно воспитал офицерский состав этого полка. Работать с ним мне было легко и приятно.

Каковы были военные качества А. С. Саввича лучше всего он сам рассказывал в письме, которое у меня сохранилось и которое он мне написал в октябре 1915 г., когда мы уже с ним служебно расстались. Сообщая о том, что он получил 81-ю пехотную дивизию — второочередную — Александр Сергеевич пишет: «С 8 августа циркулирую с ней (с дивизией) не только из корпуса в корпус, но и из армии в армию. В настоящее время как будто бы пришился к Гренадерскому корпусу (к Куропаткину)... Хотя дивизия и, как говорится, «Господа нашего Иисуса Христа», но, откровенно говоря, не хуже других. Помощники у меня отличные...

весь штаб на высоте своего призвания. Получил я дивизию 8 августа и предназначался в гарнизон Бреста, то есть на съедение, но, нисколько не смущаясь, быстро и весело поехал и явился Коменданту. Провожали меня точно в могилу, а я вот на удивление всем жив, здоров и того и вам желаю ».

И почерк у Саввича был четкий, бодрый и веселый, как его стиль и как он весь. У такого начальника всегда будут « отличные помощники ».

Саввич не имел академического стажа, но был умен и умел себя образовать; он по заслугам выдвинулся сравнительно быстро из обыкновенной армейской среды. Происходил Александр Сергеевич из хорошей дворянской семьи юга России; в нем чувствовались личное достоинство и традиции хорошего помещичьего уклада.

Таким же барином был и артиллерист Телешов. Он вспомнил, между прочим, что недавно скончавшийся генерал Гильхен, мой тесть, служил в 31-ой артиллерийской бригаде во время войны 1877-78 гг., участвовал в штурме Плевны и имел пожизненно мундир бригады.

Начальник дивизии Кузнецов носил редкое длинное имя, которое я уже забыл и за которым можно было подозревать происхождение из духовенства, любившего щеголять такими необычными именами. Это был человек небольшого роста, плотный, с черной, седеющей острой бородкой, обильно распространявшейся на щеки; был он « мрачно » умный и с патентом офицера Генерального штаба; несообщительный, — в противоположность жизнерадостному Саввичу. Служить с ним было все же возможно без трений. Едва ли Кузнецов был вообще способен на дружеское сближение, но, раз уверовав в подчиненного, он не мешал ему работать и шел навстречу.

Параллельно со службой он систематически вел какие-то записки в крошечных книжках, которые вынимал из кармана по несколько раз в день и что-то в них записывал. Быть может, это был дневник, в котором историк мог бы потом найти хронику событий — больших и малых — не только по дням, но и по часам. Тайна этих аккуратных заметок мелким почерком

осталась нераскрытой и, наверное, ушла в могилу с их автором.

В подчинении у меня должны были находиться два ближайших помощника: офицер Генерального штаба — по «строевой» части и «хозяйственный» адъютант. Но первого, после отъезда Кардашенко, не заменили, почему помощник у меня оказался один, если не считать офицеров, присланных из полков для связи, и офицера, заведовавшего обозом.

Должен тут же отметить, что я ни разу не ощутил отсутствия в штабе младшего офицера Генерального штаба, несмотря на горячее боевое время, которое пришлось пережить. Я предпочитал сам составлять и диктовать все тактические распоряжения, это ускоряло процесс, а мой хозяйственный помощник оказался отличным сотрудником «на все руки». Это был капитан Федор Иванович Васильев, офицер 124-го пехотного Воронежского полка, очень неглупый, степенный, с правильными чертами лица, просившимися на византийскую икону. Он, как и Саввич, происходил из мелкопоместного помещичьего круга Харьковской губернии. Младший брат его Сергей служил под моим начальством в Козловском полку и ведал полковой пулеметной командой.

При всей своей степенности Федор Иванович был расторопным офицером, быстро схватывал суть дела и быстро приводил в исполнение все ему порученное. Я с удовольствием узнал в эмиграции, что он и его семья — тоже степенная и точная, в отца, — находились в Египте, в Александрии. Мой измайловский сослуживец А. Я. Бретцель подружился с ним и привлек к своему изданию исторического сборника «Измайловская Старина».

В Египте же, по странной случайности, в Каире, очутился с семьей и А. С. Саввич.

С обоими харьковцами я обменялся дружескими письмами, Ф. И. Васильев вспомнил кое-что из нашего общего прошлого и, в том числе, загадочные записные книжки Кузнецова.

В общем, личный состав штаба 31-ой пехотной дивизии — командный и исполнительный — казался достаточно хорошо подобранным. Слаженность управления и отсутствие разногласий вскоре были доказаны

на практике в обстановке чрезвычайного боевого испытания.

Одним ранним и поистине прекрасным утром мы были разбужены непривычным громом орудий, превратившимся скоро в сплошной гул. Так приветствовал нас на рассвете 19 апреля 1915 г. (ст. ст.) фельдмаршал Макензен.

Начиналось второе Галицийское сражение, в результате которого нам суждено было, шаг за шагом, потерять плоды первого, пожатые осенью 1914 г.

В войсках 10-го армейского корпуса ждали атаки, — слишком очевидны были признаки подготовки к ней противника. В течение недель перед тем велась редкая, но систематическая артиллерийская пристрелка по нашим позициям и тылам. Появились новые виды снарядов, — шрапнели с двойным разрывом, более мощные гранаты. Летали чаще аэропланы, как бы разглядывая сверху наше расположение и делая съемки вдоль и поперек русской укрепленной полосы. Никто им не мешал: своя авиация почти отсутствовала, противоаэроплановых батарей не существовало. И лишь пехотные солдаты развлекались, стреляя в небо из ружей и извещая беспорядочной трескотней выстрелов о появлении над головами неприятельских летчиков.

Наконец, противник производил усиленные разведки нашей передовой линии. Захваченные нами пленные принадлежали иногда к новым частям, появившимся перед фронтом корпуса. Некоторые из более разговорчивых пленных показывали, что прибыли сильные подкрепления, артиллерия и, главное, германцы, которых до того не было на этом участке фронта.

Обо всем этом войска, конечно, доносили наверх. Сводка штаба корпуса шла в штаб 3-ей армии. Армейская — в штаб фронта... Но никто как будто не реагировал на сведения о возможном сосредоточении против нас значительных сил. Задачи оставались прежние, пассивно оборонительные на непомерно растянутом фронте. О подкреплениях не было и помину: наша стратегическая мысль усердно работала в направлении организации удара крайним левым флангом Юго-За-

падного фронта и носилась с проектом нашего вторжения в Венгрию и похода на Будапешт, а оттуда — на Вену!

На этот удаленный от нас фланг весною 1915 года и слали те резервы, которыми еще располагали Юго-Западный фронт и Ставка.

Планы эти, разумеется, как нельзя лучше играли в руку противника.

Как-то в конце февраля или в начале марта я получил в штабе Козловского полка секретную сводку сведений о группировке наших сил вдоль Карпатского хребта, по линии, в которой 10-й армейский корпус представлял собою загнутый назад правый фланг, глядевший не на юго-запад, а на запад.

Разобравшись в этой сводке и зная о нашем широком плане, я изумился его легкомыслию. Силы наши казались кружевом, одинаково слабым на всем протяжении.

Где находились и откуда можно было взять крупные резервы — не корпус или два, а больше — чтобы образовать, во-первых, необходимый для удара кулак и, во-вторых, для развития наступления с чрезвычайным удлинением наших сообщений?

Не дело командира полка выступать с возражениями против плана Верховного Главнокомандующего. Тем не менее я не удержался и в полуофициальном порядке написал в штаб дивизии рапорт с изложением своих тревожных мыслей. Я не смел упомянуть о снаряжном голоде, который перестал быть секретом в войсках; всякая большая наступательная операция могла при нем обратиться в катастрофу.

Мне неизвестно, какая участь постигла мой рапорт, написанный, разумеется, в холодных, выдержанных в строгих рамках дисциплины тонах. Передали ли его дальше, в штаб корпуса, или погребли в бумагах штаба дивизии под небрежной рубрикой «к делу»? Или еще прибавили: «Всяк сверчок знай свой шесток» *).

*) Уже в эмиграции я узнал из труда Ю. Данилова, что упрямое тяготение к этому широкому плану вторжения в Венгрию и походу на Вену со стороны главнокомандовавшего Юго-Западным фронтом генерала Иванова, известного до того песимиста, а также поддержка его Великим Князем Николаем Николаевичем в условиях нашей явной немощи 1915 г. были

10-й корпус состоял из дивизий : 9-й, 31-ой и 61-ой. В таком порядке они и стояли, считая справа налево, на позиции к югу от Тарнова до Горлицы.

Позиция тянулась на 50 верст, и, в среднем, на каждую версту фронта приходилось по одному батальону. В тылу корпуса и даже армии не было резервов. Так как мы собирались наступать на противоположном нашему фланге, этот наш участок считался второстепенным и строго оборонительным. Мы должны были удержаться без резервов, без корпусной артиллерии и почти без снарядов.

Стратегию этого рода нельзя было назвать иначе как бесшабашной.

Нас спас Макензен! Русское отступление под напором его фаланги летом 1915 года совершилось, несмотря на огромные потери, с сохранением все же стратегического достоинства. Что случилось бы, зарвись мы за Карпаты с негодными средствами, вообразить легко. Перед нашими глазами пример одной такой дивизии (48-й, Корнилова) в начале немецкого наступления. Она успела спуститься с гор в Венгерскую долину, оказалась отрезанной и попала в плен вместе с ее начальником.

Как было сказано, 31-я дивизия занимала центральный участок позиций 10-го корпуса. На ее правом фланге наши окопы шли по двум высотам, лесистой и лысой, далее, примерно в середине, вдоль окраины д. Сташкувка (взятой Козловцами в декабре 1914 г.); на левом фланге Пензенцы занимали лесистую горку, считавшуюся ключом всей нашей позиции. Полковник Евсюков — выдающейся храбрости и энергии командир — тщательно укрепил эту горку и затем отказывался от смены Пензенцев с этого участка. Слишком много было потрачено ими тут труда, и полк хотел сам защищать свое «родное» детище.

Вступив в начальствование штабом дивизии, я съездил на Пензенскую горку и убедился в том, что она действительно была приготовлена к обороне луч-

загадкой тогда и остались загадкой потом. Ю. Данилов возражал на эту идею, но тщетно; так же тщетно просил он, в связи с этим вопросом, освободить его от должности генерал-квартирмейстера Ставки и отпустить в строй.

ше других участков. Воспользовавшись подручным лесом, Пензенцы прочно одели окопы бревнами, устроили солидные блиндажи и перекрыли кое-где ходы сообщений. Все это имело надежный вид и могло устоять против огня обыкновенной полевой артиллерии. Ружейный обстрел с позиций был хорош, и противнику приходилось подниматься под ним по довольно пологому скату.

С точки зрения галицийского боевого опыта позиция дивизии была вообще укреплена удовлетворительно, а Пензенская горка казалась чуть не совершенством. Впоследствии, повидав под Ломжей окопы, которые мы строили против германцев, я убедился, что наши галицийские были далеко позади в смысле законченности и отделки. И уже, разумеется, не могли быть сравниваемы с теми сооружениями, о которых нам сообщали, время от времени, с французского фронта.

В Галиции, откуда мы собирались наносить удар левым флангом, сдерживая противника на правом, следовало, казалось бы, озаботиться соответственным укреплением на этом оборонительном фланге ряда позиций и рубежей в глубину. Это должно было придать обороне пружинность и возможность маневрировать с относительно малыми силами. Ничего сколько-нибудь планомерного и серьезного в этой области сделано не было.

Таким образом, в распоряжении 3-ей армии для решения поставленной ей задачи были: жидкие окопы передовой линии в расстоянии прямого выстрела от противника; кое-какие тыловые окопы на линии полковых и дивизионных резервов, то есть в сфере огня первого боя, открывающего операцию; ничтожные вследствие длины позиции войсковые резервы и слабая дивизионная артиллерия.

Не хватало самых насущных средств: тяжелой артиллерии, авиации и даже снарядов для дивизионной артиллерии. Будущий бой не был подготовлен и в смысле укрепления в глубину.

Снарядный голод обнаружился официально в начале 1915 года, когда мы слышали изумительное приказание расходовать в день не больше 8 патронов на орудие!

Если атака 19 апреля лишь подтвердила наши ожидания, то сила огневого урагана, обрушившегося на войска корпуса, превзошла всякое воображение. В непрестанной долбежке наших позиций принимали участие, кроме обыкновенных полевых орудий, 3- и 4^{1/2}-дм. калибров, гаубицы и мортиры в 6, 8 и 9 дм. Наша жалкая числом и мощностью артиллерия, несмотря на ее героические усилия, была беспомощна против этой лавины стали, свинца и чугуна.

На фронте 31-й дивизии удалось взять в плен германского офицера и найти на нем карту с нанесенными германо-австрийскими батареями. Будучи эшелонированы по дальности и калибрам, они стояли тесно в несколько рядов, — точно в колонне.

К полудню наши скромные окопы были разбиты, засыпаны, сравнены с землей.

И тем не менее пехота не дрогнула и держалась в ожидании приступа! Донесения были твердые!

Больше всего досталось ключу позиции — Пензенской горке Евсюкова. Как ни основательны были ее окопы и блиндажи — они оказались развороченными. Бревна летели вверх, как спички. Защитники окопов, оглушенные, перемешанные с убитыми, в дыму и в песке, отупелые, прижимались к остаткам своих брустверов, сжимая в руках винтовки в ожидании пехотной атаки. Это были не люди, а автоматы.

И они все же отбивали попытки противника подойти вплотную и ворваться на позицию...

В 2 часа дня положение стало еще хуже. У нас не оставалось никакой надежды на возможность удержаться хотя бы до следующего дня. Люди стояли в рост на месте своих бывших окопов, отбрасывая немцев где ружейным огнем, а где штыком. Над Козловцами у с. Сташуквки, в дополнение к общему аду, летали вдоль и поперек аэропланы и бросали сверху металлические стрелы.

Нечто подобное происходило и на участках соседних дивизий, 9-ой и 61-ой; в особенности тяжело было под Горлицей.

Было решено додержаться до сумерек, а наступали они не рано, и ночью отойти на так называемые «заранее подготовленные» позиции в тылу.

Нельзя было удивляться этому единственно воз-

можному решению. Удивительно было то, что наша пехота смогла устоять в течение целого дня и начать свой отход в порядке *). Чрезвычайно трудны были поддержание связи и передача приказаний. Телефонные линии поминутно рвались. Но телефонисты вели себя настоящими героями, и связь, хоть на короткое время, восстанавливалась. Не менее храбрости требовалось и от людей, посылаемых с письменными приказами. Благодаря исключительной дружности действий всех чинов дивизии, от старших офицеров до последнего стрелка, она благополучно отошла ночью на указанную ей линию. Потери в людях и в имуществе были велики, но мы не потеряли ни одного орудия (свидетельство того, что противнику не удалось как следует прорвать наш фронт и вклиниться в расположение дивизии).

В дальнейшем продолжалось то же самое, день за днем, хотя в смысле огня ничего подобного первому дню не повторилось. Объяснялось это невозможностью быстро передвигать и располагать в массе тяжелые батареи. Их обдуманное сосредоточение на р. Дунаец несомненно заняло несколько недель, — не часов. Если бы 3-я армия имела директиву, в случае обнаружения подготовки атаки на нас, не принять боя и своевременно отойти на тыловую позицию — действительно укрепленную, — весь артиллерийский план неприятеля был бы сорван, вся эта ювелирная работа по постановке батарей пропала бы даром. Для новой атаки понадобились бы новые недели. А мы сохранили бы силы, уступив лишь незначительную полосу местности.

Так именно поступили в 1917 году немцы, сорвав приготовления франко-английского фронта и неожиданно отойдя на заранее устроенную крепкую линию «Гинденбурга».

То же самое могли и должны были сделать мы весной 1915 года.

Мне говорили, что Радко-Дмитриев считал такой маневр наилучшим ответом на возможное решительное наступление противника и предлагал этот способ штабу Юго-Западного фронта. Но разумный голос ко-

*) Против наших 6 дивизий и 300 орудий на фронте Тарнов — Горлица, как выяснилось потом, было 14 неприятельских дивизий, из них 7 германских, и 1500 орудий.

мандующего 3-ей армией оказался голосом вопиющего в пустыне...

После того как мы были сдвинуты силою с места, не без понятного общего расстройтва, нам вместо подкреплений (их и не было поблизости) слали систематически одно стереотипное и сердитое приказание из Ставки: «Держаться во что бы то ни стало!» и «ни шагу назад!».

В этот злосчастный период во главе Юго-Западного фронта продолжал стоять генерал-адъютант Иванов, но стратега Алексева при нем сменил генерал Владимир Драгомиров, бывший начальник штаба 3-ей армии. Алексеев уехал командовать Северо-Западным фронтом. Драгомиров не обладал способностью Алексева рассуждать холодно и проявлять в своих расчетах выдержку. Его обвиняли в нервности и во вредной импульсивности *).

Тем не менее едва ли он один повинен в том, что произошло; план наступать левым флангом в Венгрию зародился и упрямо поддерживался еще при Алексееве. Напрасно также Ставка валила потом всю ответственность на Иванова и на Радко-Дмитриева за неукрепление тыловой полосы 3-ей армии **).

Спрашивается, о чем же думало Верховное Командование в течение 3-4 месяцев, во время которых наша беспомощность выяснилась хотя бы в виде постоянной торговли между фронтом и Ставкой о резервах? Если Ставка держалась политики невмешательства, то перед лицом несчастной, сделавшейся безоружной русской армии это было не предоставлением пресловутой свободы действий, а преступлением.

Припомним, что командир пехотного полка, на основании одних только своих скудных сведений, пришел в ужас от наступательного замысла фронта. И попробовал ударить в тревожный колокол! Это случилось примерно за полтора месяца до удара Макензена. Но в Ставке должны были знать обстановку подроб-

*) По расстроенному здоровью Владимир Михайлович Драгомиров вскоре сошел со стратегических верхов, и мы его на них больше не встречаем до конца войны.

**) Ю. Данилов «Россия в мировой войне».

нее и испугаться нашего безрассудного плана гораздо раньше!

Неверно и утверждение, в оправдание Ставки (книга Ю. Данилова), что о готовившемся ударе против 3-ей армии узнали только «в середине апреля» (по н. ст., по старому — в начале) и потому не могли принять меры. Как я уже говорил выше, войска непрерывно доносили о разных симптомах, которые накапливались, начиная с конца февраля. Все это казалось столь необычайным и подозрительным, что тут не нужно было и авиации, на отсутствие которой жалостливо ссылается Ю. Данилов.

Укрепление тылов армий нельзя было предоставить на единоличное усмотрение их штабов, в распоряжении которых не хватило бы и средств. Тут, конечно, требовался фронтовой план, в зависимости от возможной постановки задач армиям в случае необходимости подаваться с боем назад.

Так как ничего серьезного и согласованного не было в этом отношении ни придумано, ни подготовлено высшими инстанциями, можно заключить, что наверху господствовал оптимизм и легкомыслие, — результат осенних блестящих побед в Галиции. Легкомыслие это едва ли было не под стать сухомлиновскому, который объявил в начале войны, что «у нас все готово и всего в изобилии».

Но вернемся к нашему отступлению.

Я записывал свои впечатления без карты и без точных справок о датах и т. п., поэтому я могу дать только общий абрис операции, сохраняя верность основных ее черт. Отходили мы шаг за шагом, по ночам, иногда коротким пехотным переходом, иногда усиленным, чтобы оторваться от наседавшего противника и успеть устроиться на новой позиции.

Общее направление для 10-го корпуса получилось примерно на Пильзно, Ржешув и далее к нижнему течению р. Сан (Ниско?).

Днем дрались, — удавалось продержаться на некоторых рубежах два и более дней, — ночью шли.

Несмотря на чрезвычайную усталость и огромные потери, дух войск не падал. Это было подлинное чудо!

Трудность управления увеличивалась от включения в участки дивизии случайных чужих частей и от

того, что в разгар боя приходила свирепая депеша: «Ни шагу назад!». Между тем мы отлично знали, что отойти все-таки придется, даже если на нашем участке дневные атаки противника будут отбиты. Важно было быть готовым к этому и заблаговременно распорядиться. Я выработал следующий прием:

Как только завязывался наш очередной дневной бой, я решал по карте, на основании общих данных об обстановке, добываемых от штаба корпуса, в каком направлении и по каким путям нам придется отходить в случае, если этого потребуют обстоятельства. Сообразно с этим моим решением, в котором, само собою понятно, рядом с твердыми фактами стояли и догадки, я составлял полевые записки с инструкциями командирам полков и артиллерии, что делать и по какой дороге идти по получении приказа об отходе. Записки эти доставлялись задолго до темноты по адресу в строго секретном порядке. Таким образом, начальники частей в свою очередь получали возможность заблаговременно обдумать порядок выхода из боя и дальнейшего отступления.

Замечательно, что «догадочная» часть моих решений всегда оказывалась правильной и в записки ни разу не пришлось вносить второпях какие-либо коренные изменения. Это в высшей степени способствовало упрощению сложных операций вывода войск из боя. Действия пехоты и артиллерии, прикрытие последней, выделение арьергардов, маскирование отхода разведчиками и другими мерами, — все это выходило согласованным и четким.

Штабу дивизии оставалось затем только регулировать детали, в зависимости от частных, вторгавшихся в нашу схему. Как бы ни была трудна обстановка, эта техника управления, с которой быстро освоились все старшие чины дивизии, оправдывала себя. Мы никогда не чувствовали себя захваченными врасплох и ни на минуту не теряли связи друг с другом. А это могло случиться так легко!

Странно, что на верхах плохо отдавали себе отчет в невозможности остановить обвалившуюся на нас лавину как по мановению жезла при нашей бедности решительно во всем. Даже целая свежая армия, если бы таковая оказалась в готовности, не смогла бы повер-

нуть дело в нашу пользу без снарядов и массы пулеметов.

В тылу правого крыла Юго-Западного фронта имелись два естественных рубежа, на которых предполагали устроиться и дать последний отпор противнику: линии рек Вислока и Сан. Но, раз прорвав наш фронт в одном месте, противник расширял этот прорыв и искал случая прорвать в другом. Если нам удавалось, отойдя, выпрямить линию, она оказывалась вогнутой в наше расположение где-нибудь рядом, фланг или фланги попадали под угрозу и ничего не оставалось как отступать дальше. Только при этой тактике нам удалось избежать окружения и пленения целых дивизий или даже корпусов.

Ю. Данилов в своих воспоминаниях признается, что в воображении Ставки пределом нашего отхода считалась линия реки Вислока — два перехода к востоку от линии Дунайца. Можно думать, что после того как мы не удержались на этом первом значительном рубеже, в Ставке начали сердиться на войска и обвинять их в недостаточном упорстве. Войска, потерявшие уже до половины своего состава, немало орудий и дравшиеся, по-прежнему, с гомеопатической порцией артиллерийских снарядов и пулеметов!

Пехоте в особенности трудно было отстаивать свои пушки. Артиллерийский огонь нужно было поддерживать во что бы то ни стало в течение всего дня, до наступления темноты. Батареи располагались не слишком глубоко, чтобы иметь возможность действительным огнем поражать не только передовую линию неприятеля, но и его тылы с артиллерией. Как бы ни напирал под вечер противник на наши окопы, как бы ни казалось положение на некоторых участках шатким, нельзя было менять позиции батарей далее вглубь. Помимо вызываемого такой переменой сокращения зоны нашего огня, получился бы перерыв в этом огне, пока выбиралась новая позиция и совершался переход. Да и самый переезд не легко было совершить днем под обстрелом.

В результате, батареи «брали в передки» не ранее того, как начиналось отступление пехоты, то есть в сумерках. Если в это время неприятель производил атаку, артиллерия подвергалась большой опасности. Ма-

лейшая неустойка пехоты — и батареи оказывались легкой добычей. В нашей дивизии чуть не случилось такое несчастье в один из тяжелых дней, — и на участке моего Козловского полка, которым временно командовал тогда молодчина И. И. Пургасов. Австрийцы было подбежали к нашей батарее, как прапорщик Мазуров, — поступивший в армию из какой-то штатской профессии, отличный скрипач, — ударил в штыки со своей жидкой полуротой, бывшей в прикрытии, и спас пушки. Насколько помню, он пожертвовал собой, — либо был убит, либо ранен и попал в плен, но совершил подвиг и сделал большое дело.

31-я дивизия вообще не потеряла за время отхода ни одного орудия.

Скверно было, когда противнику удавалось сдвинуть нас с позиции до наступления темноты. Тогда приходилось принимать особые меры, чтобы сдержать преследование и восстанавливать порядок в частях, начавших отходить до приказа свыше. В 31-ой дивизии за первые две недели отступления это случилось только раз. Начальник дивизии Кузнецов приказал подать лошадей и со всем штабом выехал на поле сражения. Было часов 6 вечера, солнце склонялось к горизонту, но до темноты оставалось часа два. Гористая местность была покрыта — где нашими лежащими стрелковыми цепями, где колонками, отходившими назад по долинам. Над полем густо рвались неприятельские шрапнели. Гранаты взрывали землю.

Была прекрасная погода, и если бы не шло взаимное уничтожение людей, картина могла показаться интересной и красивой.

Появлением начальника дивизии, отдача встреченным частям нескольких твердых приказаний (и, между прочим, я сам повернул и расположил цепью на ближайшем переломе местности какую-то небольшую часть) сыграли свою роль. Отход принял упорядоченный вид. « Начальство тут и едет вперед, к позициям » — сказали себе те, кто видел это начальство, успокоились и воспрянули духом.

Встретился верхом по пути к перевязочному пункту мой полковой адъютант Рязанцев, только что раненный пулей в ногу.

Работа по управлению дивизией была в эти дни

непрерывная, требовавшая личного вмешательства и присутствия то в одном, то в другом месте. Начальник дивизии вскоре заболел и, перемогаясь, полеживал на соломе со своей маленькой книжечкой в руках. Таким образом, командование фактически перешло к генералу Саввичу, нашему бригадире. С ним я состоял в самых лучших отношениях, мы работали как один человек; подчас было очень тяжело, но сохранилось бодрое воспоминание об этом периоде нашей горячей и дружной полевой деятельности.

Обыкновенно распоряжения вырабатывал я и затем тут же, по утверждении их Саввичем, диктовал для скорости состоявшим при штабе офицерам приказ, который без задержки мог быть разослан в части. Образовалась полезная привычка ничего не упускать и говорить простым языком, без книжных штампованных фраз. Часто я объяснял положение и мысль чертежом.

Так как каждый офицер записывал приказ в книжке с копиркой на нескольких листах, сразу получалось много экземпляров приказа.

Помогала несомненно и та большая практика, которую я имел в Академии, руководя тактическими занятиями по прикладному методу.

Всегда старались — и успевали в этом — отдать основные распоряжения настолько рано, чтобы войска получили их до наступления ночи. Для этого нужно было опять — таки многое предугадать и не ожидать приказа из штаба корпуса, который обычно приходил или передавался по телефону поздно.

Было теперь к чему «приложить» теоретические навыки и приемы!

Во время этого отступления в район дивизии попадали чужие части и подчинялись, для боя, нам. Необходимо было лично установить, где эти части и каково их состояние; для этого нужно было скакать на передовую линию, чтобы войти в живую связь с их начальниками.

Составление диспозиции в этом случае осложнялось, так как требовалось формирование боевых участков пестрого состава, вроде куропаткинских «отрядов», с подчинением их, часто только на одни сутки, случайным начальникам «приблудившихся» полков или батальонов.

Штабу отдыхать было некогда, а начальнику его — тем менее. Как-то ночью, едва я бросился на свою солому, чтобы поспать 2-3 часа, как меня кто-то вызвал к телефону. Я взял трубку злой! Чей-то голос спрашивал какую-то справку, с которой, думал я, можно было и подождать. Я соответственно оборвал говорившего, упомянув при этом и черта. В ответ последовало: «Говорит командир корпуса». Нужно отдать справедливость человечному и уравновешенному генералу Н. И. Протопопову, — он не рассердился и понял причину моей резкости. Саввич же остался очень доволен и смеялся своим сдобным смехом.

Когда мы приближались к Сану, я так устал и измотался, что отпросился у Саввича «на отдых» в тыл. На фронте как раз наступило затишье. Саввич отпустил. По приезде в город, где стоял штаб корпуса (кажется, это был Ржешув), я, конечно, явился Протопопову. Он расспросил меня о положении, а затем сказал: «Теперь пойдите в тыловую нашу гостиницу, поешьте как следует и ложитесь спать. А завтра днем зайдите ко мне». Я так и сделал.

— Ну, как вы себя чувствуете сегодня? — спросил меня командир корпуса, когда я к нему явился на другой день. — Готовы ли ехать обратно в дивизию?

— Отдохнул и готов ехать, — отвечал я.

— Ну вот, и отлично! Пожалуйста, кланяйтесь Саввичу и продолжайте работать.

Сел я в какую-то тяжелую войсковую бричку и к ночи уже был снова на своем посту.

На р. Сан наша дивизия вошла в пределы России, — на самой границе с Австрией. Штаб стал в селении, название которого ускользнуло из памяти. Тут была русская церковь; штаб расположился в довольно уютном доме священника, где был фруктовый сад, напоминавший Малороссию. Противник на нашем участке уже был не тот: ослабевший и тоже уставший. Он приостановился на левом берегу реки. Мы удержали за собой предмостные укрепления, из-за которых происходили схватки, вскоре прекратившиеся. Наступила для нас передышка. Главный нажим неприятель перенес южнее, и серьезные бои загорелись под Перемышлем.

Погода продолжала быть превосходной. Полки

приводили себя в возможный порядок и подсчитывали свои потери. Штат пехотного полка военного времени был 3.000 человек, и примерно в этом числе, пополнившись за время зимней стоянки, полки, вступили в бой 19 апреля. К 1 мая, на р. Сан, в них оставалось, в среднем, по 800 человек и полки имели вместо четырех по два батальона, каждый мирного состава, то есть всего по 100 человек в роте.

Еще тяжелее была убыль офицеров. В Козловском полку, например, целыми оказалось 10 офицеров. На роту приходилось по одному офицеру. Среди них едва ли не большинство были прапорщики, то есть скороспелые офицеры военного времени.

И еще хуже, пожалуй, обстояло дело с имуществом. Пулеметов, которых вообще у нас далеко не хватало (вступили в войну с жалкими 8 пулеметами на полк!), почти не осталось. То же самое произошло с полевыми телефонами и запасами проволоки, телефонной и мотками колючей для искусственных препятствий. На восстановление всего этого требовалось время.

Между тем подступали новые бои. Кое-что удалось получить; подъехало несколько офицеров и пришли кое-какие пополнения (вопрос этот в тылу был налажен недурно), но не хватало ружей!

Снарядный голод в артиллерии продолжался; после интенсивного расхода их в течение десятидневной операции, он обострился. На линии р. Сан было буквально запрещено стрелять « без крайней необходимости ».

Саввич поручил мне составить реляцию о действиях дивизии во время отступления. Каждая минута была свежа в памяти, и нужные документы были под рукой. Тишина на фронте позволила сосредоточиться и серьезно засесть за составление описания. Получилось оно довольно детальным, обоснованным и должно было бы удовлетворить будущего историка; в всяком случае помочь ему разобраться в живо менявшейся обстановке и в путанице мелькавших событий.

Оригинал послали по командной лестнице наверх, но я сохранил для себя копию, о пропаже которой сожалею. Уцелел ли где-нибудь оригинал, попал ли в какой-нибудь советский исторический архив или под-

вергся участи большинства документов, погибших в первые месяцы большевистской революции?

В последних числах апреля на этой мирной стоянке пришли почти в одно и то же время, одна за другой, две телеграммы обо мне: первая предлагала мне должность командующего лейб-гвардии Измайловским полком; вторая — генерал-квартирмейстера 3-ей армии.

В первом случае вспомнил обо мне, вероятно, генерал-адъютант Безобразов, командир Гвардейского корпуса, с которым мы познакомились на летних пулеметных сборах корпуса (я дважды, в 1913 и в 1914 гг. был начальником штаба этих сборов).

В втором случае — А. К. Байов, мой сослуживец по Академии, теперь начальник штаба 3-ей армии. Помнил меня, наверное, и командовавший армией Радко-Дмитриев, вызвавший меня для командования полком.

Я без колебаний принял первое — строевое — предложение. Было приятно вернуться в родной Гвардейский корпус и быть, наконец, назначенным командиром полка, да еще такого старого.

Вскоре после этого 31-ю дивизию сдвинули с места вдоль по Сану на юг и снова в пределы Галиции (к Сеняве?). Мы должны были совершить усиленный марш ночью и принять участие в контратаке против прорвавшегося на том участке противника. Помнится, с нашим маленьким числом и маленькими средствами мы не смогли достичь заметного успеха, но все же остановили австрийцев на назначенном рубеже.

Затем нас еще передвинули, в том же районе; кажется, что даже вызвали на время в резерв.

Здесь была получена телеграмма, что 9 мая (ст. ст.) состоялся Высочайший приказ о моем назначении командующим Измайловским полком. Мой пятинедельный опыт начальствования штабом дивизии и управления дивизией в незаурядной боевой обстановке кончился.

Задержавшись на 3-4 дня, чтобы сдать дела, я сердечно и с сожалением простился с Александром Сергеевичем Саввичем. Мы расстались — как жили и работали — друзьями.

КОМАНДОВАНИЕ Л. ГВ. ИЗМАЙЛОВСКИМ ПОЛКОМ

В мае 1915 года полк стоял на позициях под Ломжей.

Приехал я в этот пыльный тогда городок 5 июня. Навестил брата, исполнявшего должность генерал-квартирмейстера 12-й армии, и представился Безобразову, командиру Гвардейского корпуса.

Генерал, знавший меня по пулеметным сборам гвардии, встретил ласково, но предупредил:

— Вы принимаете трудный полк!

В штабе корпуса было много знакомых и совсем петербургская атмосфера. Б. А. Энгельгардт, бывший член Думы, а теперь офицер для поручений при штабе, рассказал, как вершились дела в нем при графе Ностице:

— Мы обсуждали операции на французском языке, как генералы 12-го года.

В какой-то казенной бричке я поехал к полку через штаб 1-ой гвардейской дивизии и там представился генералу Гольтгоеру, бригадиру, исполнявшему обязанности начальника дивизии. Настоящий серьезно заболел и был эвакуирован.

Гольтгоер накормил меня завтраком, но о полке не говорил, — быть может потому, что тут же за столом сидел измайловский полковник Офросимов, заведовавший чем-то хозяйственным при штабе дивизии.

Полк находился в резерве, что было удобно для его приема; штаб стоял в помещицьем доме Кисельницы.

О своем вступлении в командование я отдал приказ 6 июня.

Было неизвестно, от кого я принимал полк. Оказалось, что в штабе полка орудовал импровизированный парламент, состоявший, кроме чинов штаба, из всех четырех батальонных командиров и двух вольноопределяющихся унтер-офицеров из команды конных разведчиков. Вся эта компания жила и заседала в штабе полка.

Когда я приказал обратиться каждому к исполнению своих прямых обязанностей, мне показалось, что это было встречено с удивлением и неодобрением. Впрочем, я думаю, что полковой адъютант Н. Н. Порохов и заведовавший оперативной частью И. В. Белозеров понимали странность управления, установившегося в полку, и благословляли исчезновение «депутатов», превращавших штаб полка в род клуба. Полк существовал без настоящего хозяина почти четыре месяца. Мой предшественник генерала Круглевский был ранен в феврале. Ему пришлось отнять руку. На возвращение его не было надежды, но тем не менее с назначением преемника тянули.

Состояние полка в сборе в тылу позиций позволило принять его в строю. Батальоны были выстроены в резервных колоннах, в двух местах, чтобы не было слишком большого скопления. Хотя бомбардировка с воздуха находилась тогда в самом зачаточном состоянии, все же наши густые сомкнутые колонны могли привлечь внимание и соблазнить какого-нибудь случайного немецкого летчика.

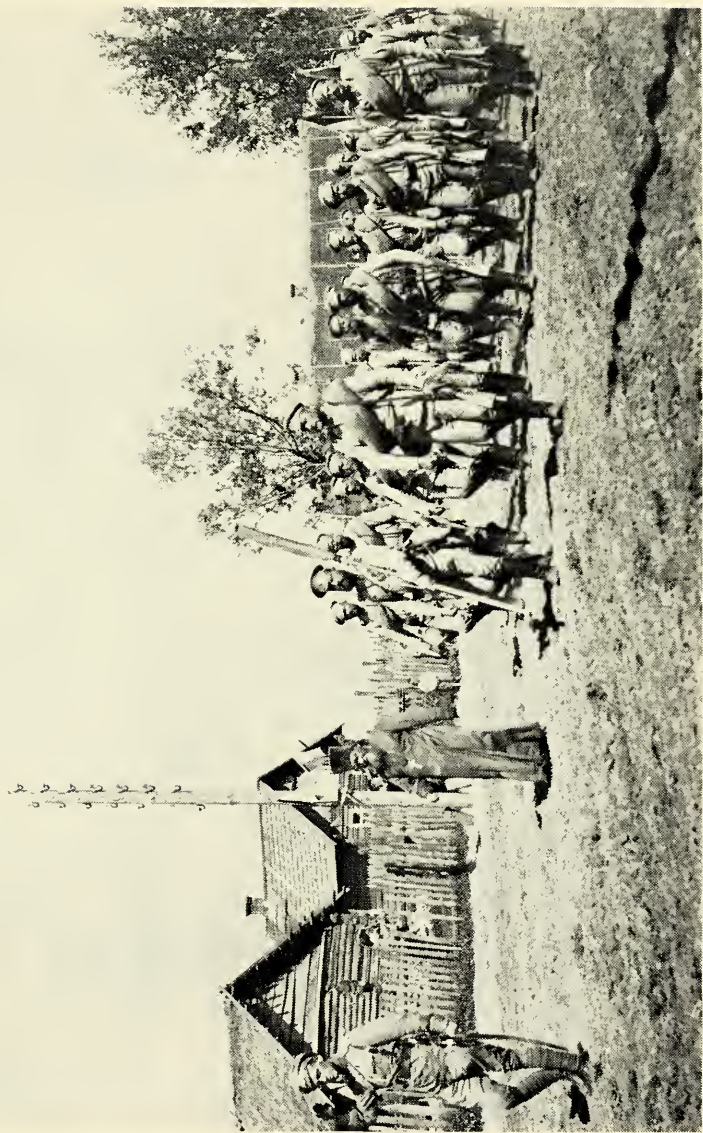
Впечатление от сомкнутого строя полка получилось плачевное. Батальоны и роты были плохо выравнены по фронту и в затылок; стояли они на неправильных, неровных дистанциях и интервалах.

Снаряжение у солдат было пригнано кое-как и разнообразно. Люди стояли мешковато и не выказывали никакого подъема при виде нового командира.

Офицеры не отставали от солдат и смотрели «буками».

В двух ротах были заявлены претензии, потом, при разборе, оказавшиеся правильными. Заявление жалоб считалось в войсках, и не без основания, признаком внутреннего беспорядка части.

Во время моего обхода рот люди шевелились и даже слышались разговоры. В одной роте пример этому



Лейб-гвардии Измайловский полк на походе

подавал сам фельдфебель, которого я должен был тут же подтянуть.

Если в строевой части полка все показалось мне нестроевым, то в тыловой, нестроевой, к моему великому удивлению и неожиданному удовольствию, все оказалось в отличном строевом порядке. Единственная часть, которая представилась мне молодцевато и погвардейски, — была хозяйственная, с ее тыловыми командами, обозными и нестроевой ротой. Этой частью заправлял молодой и энергичный капитан А. В. Есимонтовский. Постоянное отделение от полка и самостоятельность позволяли начальнику хозяйственной части, если он хотел и умел, лепить из нее часть « по своему образу и подобию ». А так как А. В. Есимонтовский любил во всем отчетливость и нарядность, то и вверенные ему обозные и мастеровые легко перещеголяли своих запущенных строевых собратьев.

В таком же отличном состоянии представился мне санитарный отдел с его обозом и санитарями. У полкового врача Пороховского была несомненная строевая жилка, и он охотно шел в ногу с Есимонтовским, держа своих людей, лошадей и повозки в образцовом порядке. Впоследствии, при моем поощрении и замене неповоротливых казенных санитарных рыдванов легким двуколочным обозом*), Пороховский неизменно радовал мой глаз подтянутостью своей санитарной колонны, каковы бы ни были боевые условия.

При обозе 2-го разряда я нашел и своего старого знакомого — протоиерея Сахарова, который был священником лейб-гвардии Егерского полка, когда я был молодым офицером.

Хорошее впечатление о тыле полка не могло разогнать моей заботы в отношении строевого полка, которым долго никто не занимался и который не только не напоминал о гвардии, но скорее походил на захолустную и захудалую часть.

Уже через три дня после моего приезда и приема полка, его поставили на позиционный участок. Приехал как-то и прошелся со мной, частью по окопам, ча-

*) Удалось мне сделать эту замену благодаря крупному денежному подарку для полка старухи княгини Вяземской, кишиневской знакомой брата моей жены.

стью по тылам, песочным и пыльным, генерал Гольтгоер. Встречавшиеся Измайловцы не блистали выправкой, плохо становились во фронт, и отдавали честь, на что командующий дивизией и обратил мое внимание, приказав заняться этой стороной дела. Замечание, хотя и сделанное в мягкой и деликатной форме, все же оставалось замечанием командиру недалекой давности. Приходило в голову: наезжало ли старшее начальство в полк с репутацией « трудного » во время четырехмесячного междуцарствия и что оно сделало, чтобы сдержать этот ополз гвардейства и даже элементарной дисциплины. Получали ли временно командовавшие полковники головомойки и было ли известно о введении в полку, под конец, соборного начала в управлении?

Таковы, на протяжении самых первых дней моего командования, оказались мои впечатления и переживания, предвещавшие новому командиру мало веселого. Предстоял путь в неизвестное, ответственное будущее по крутому подъему и против ветра, с преодолением неожиданных препятствий, среди которых могли оказаться и капканы.

— Да, это нелегкий полк, — сказал я себе, начав подъем!...

Позиции под Ломжей, после наших легкомысленных в Галиции, представились мне солидными и прочными. Служба в окопах неслась внимательно и хорошо, что подавало надежду на добрую боевую работу с полком. Он уже и имел такую репутацию в других полках дивизии. Ко мне зашел с визитом офицер Лейб-Егерь — князь Борис Оболенский и так образно определил эту репутацию: « У Измайловцев — кабак кабаком, а в результате выходит хорошо! ». Тогда же Оболенский сказал мне: « А мы ждали тебя командиром к нам ». По-видимому, Лейб-Егеря тогда начинали уставать от дельности генерала Б., у которого это почтенное качество соединялось с утонченным бездушием и желчностью в отношениях.

За время позиционного стояния я успел познакомиться с офицерским составом (кого не знал раньше) и разобраться в делах. Но стояние скоро кончилось,

так как через несколько дней был получен приказ гвардии двигаться на юг, где в то время продолжал угрожающе развиваться удар Макензена.

Полки постепенно сменялись с позиций и выступали походом на Белосток, где садились в поезда. Дальнейшая переброска до Холма происходила по железной дороге. Измайловцы выступили из Ломжи 13 июня и осели к югу от Холма, в районе с. Бзите, 23-го.

Днями походного движения я воспользовался, чтобы вернуть людям после длинного позиционного периода маршевые привычки и сноровки. Скоро мне удалось побороть цифры отсталых в ротах, говорившие не столько о невтянутости, сколько об отсутствии заботы у фельдфебелей и взводных. Состав полка был полный, около 3.000, по штатам военного времени, так как после Ломжинских боев в феврале он пополнился до краев. Постепенно, шаг за шагом, я старался прибрать к рукам офицеров и солдат. Мне казалось, что я успеваю в этом. Под Бзите мы, как и вообще весь Гвардейский корпус в районе Холма, состояли в стратегическом резерве, и я смог отдать, при отличной летней погоде, часть времени занятиям по одиночной выправке и сомкнутому строю, — во имя восстановления строевого духа.

Историческая сторона всего дальнейшего описана мною с достаточною подробностью в статье «Боевой и мирный календарь Измайловцев с июня 1915 по июнь 1916 г.», напечатанной в 1932 г. на машинке в журнале «Измайловская Старина» (№№ 10, 11, 12 «И. С.» и мои письма в № 24 *).

Поэтому я не буду здесь излишне повторяться, но останавлиюсь, как сделал уже выше, на фактах и воспоминаниях, которые в том рассказе были бы не у места и могли бы задеть чувство узкого полкового патриотизма офицеров, моих бывших сотрудников. По отношению к большинству из них я не чувствую ничего, кроме благодарности, за их работу и исполнение долга, особенно в бою; к отдельным офицерам — чувство, более глубокое, личной привязанности; но наряду с этим я не могу вычеркнуть из моей памяти некоторых

*) Издавался полковником А. Я. фон Бретцелем, скончавшимся осенью 1940 г. в Александрии. См. №№ этого журнала

пятен на солнце, которые не были случайными и переходящими, а являлись результатом сложной и даже загадочной нравственной структуры корпуса офицеров лейб-гвардии Измайловского полка в течение нескольких десятилетий до войны.

Во время нашей стоянки вокруг пыльной д. Бзите, на юге, в двух переходах, шли бои, и, если мы не двигались вперед, то поле сражения само любезно подвигалось к нам. Шумы становились все слышнее и слышнее. И вечером 4 июля, когда полку было наконец приказано наступать к Красноставу, ему нужно было совершить лишь небольшой переход, чтобы оказаться утром 5-го сразу в передовой линии.

Измайловцы и Преображенцы должны были сместить потрясенных непрерывными боями армейцев на участке позиции к северу от Красностава, по обе стороны р. Вепрж. Река являлась границей между полками.

Измайловцы, на восточном берегу сменили на рассвете едва державшихся Тульцев, которых оставалось так мало, что окопы казались занятыми точно условно, пунктиром. Между тем природные свойства позиции были выгодны: она шла по опушке не слишком большого леса на гребне, с которого открывался дальний обзор и обстрел в сторону Красностава; тылы окопов и сообщения были хорошо скрыты лесом. В некотором расстоянии за ним находились удобные позиции для батарей.

Как только свежая, полнокровная часть заняла эту позицию, ее потенциальные тактические условия сразу ожили и показали себя в бою 5 июля.

Измайловцы едва имели время осмотреться в окопах, как были атакованы от Красностава отборными — выяснилось впоследствии — немецкими войсками. Сюда для производства нового очередного прорыва германцы подвели гвардию и неожиданно нарвались на русскую гвардию, тоже свежую.

Весь день шел упорный бой как у Измайловцев, так и у Преображенцев. Повторные атаки противника были обоими полками отбиты. В 6 час. вечера бой стал

утихать. Выражаясь языком сводок, прусские гвардейцы были с большими потерями отброшены в район Красностава. У нас создалось искреннее настроение одержанной победы и желание на следующее утро перейти в наступление. Лично я готовил нужные для того распоряжения.

За день боя Измайловцы были усилены, по моему совету в штабе дивизии, гвардейской стрелковой бригадой, развернувшейся левее и обозначившей охватывающее положение (хотели подкрепить наш участок по самому плохому рецепту : прямо с тыла).

Кроме того, предоставили в мое распоряжение батальон или два Семеновцев из дивизионного резерва. Я их не тронул, справившись с задачей дня собственными силами. Но в случае перехода в наступление эта свежая часть и гвардейские стрелки слева должны были бы сыграть большую роль.

Однако атаковать нам не пришлось. Где-то на фронте, кажется, правее Преображенцев, противнику удалось глубоко прорвать наши линии. Понадобилось исправление общего фронта и новый отход.

Измайловцы отошли перед рассветом скрытно и в образцовом порядке. Я пропустил мимо себя каждую роту и дождался последних разведчиков, прикрывавших отступление.

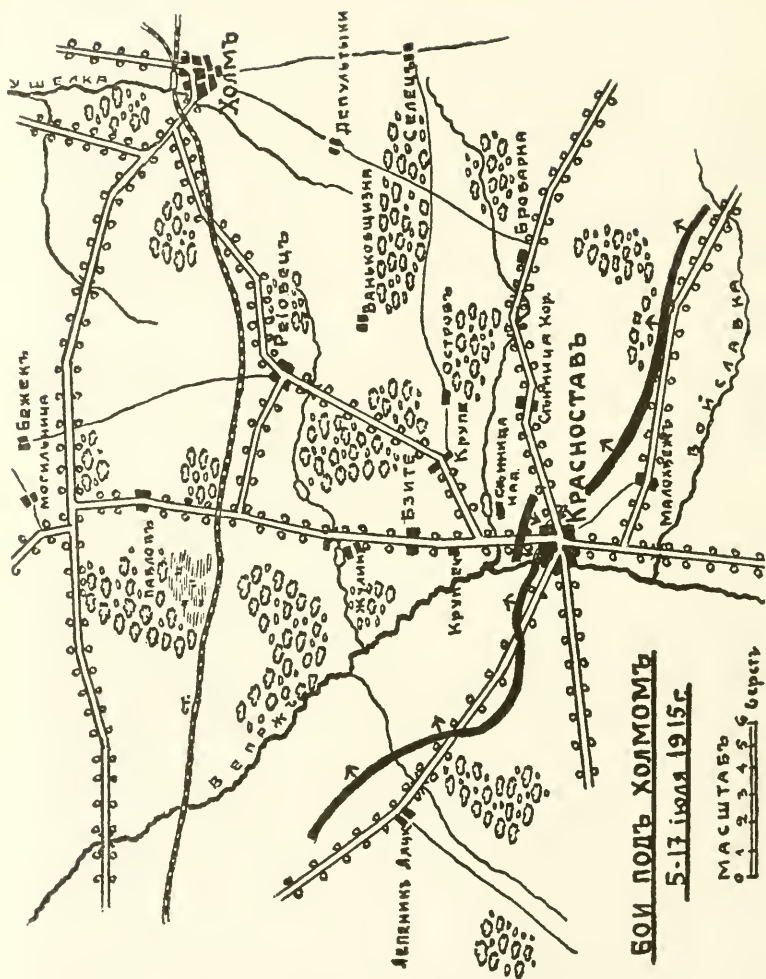
Вообще Красноставский бой показал мне, какой солидный и надежный боевой материал представлял собою полк. Потери были значительны, и из строя было убитыми и ранеными несколько офицеров.

Но Измайловцы справедливо гордились днем 5 июля 1915 г. и занесли его в боевую хронику полка на табельный листок. До Свинюхов 1916 г. это сражение казалось лучшим с начала войны. Правда, мы оборонялись, но оборонялись активно, а противником была прусская гвардия *).

Мне удалось добыть Георгиевский крест офицеру-

*) Впоследствии какой-то неизвестный поэт 9-й роты в составленной им рифмованной истории полка за время войны, — в форме песни с припевом, сказал о Красноставе :

« Геруа полковник славный
Своей жизни не щадил,
Смело принял бой неравный,
Швабов гордых победил ».



пулеметчику Б. С. Гескету, лично взявшемуся за стрельбу, когда прислуга была переранена. Его довольно скоро пронесли мимо меня через лес на носилках. Он в свою очередь был ранен, и тяжело, в правую руку. Потерял способность ею владеть.

Командующему полком была объявлена Высочайшая благодарность (Государь сам поднял на эту ступень представление, просившее о так называемом « благоволении »). Из орденов мне, в полковничьем чине, давать было нечего, а произвести в генералы, очевидно, сочли преждевременным. « Благоволения » и « благодарности » обозначали у нас какие-то права на ускоренную выслугу пенсии.

Вскоре после Красностава, во время дальнейшего отхода и временного стояния Измайловцев в резерве, в полк приехал корпусной командир генерал Безобразов специально поблагодарить офицеров и солдат за бой.

Новый начальник дивизии генерал В. В. Нотбек *), принявший дивизию перед Красноставом, не считал нужным и психологически полезным сделать то же самое.

Начиная с Красностава полк включился в тот огромный стратегический отход из Галиции, в котором еще так недавно я участвовал в рядах 31-й дивизии. Между прочим, в Холмщине она оказалась в июле где-то поблизости и я получил привет и пачку новостей (частью грустных) от милых Козловцев.

Отступали мы, задерживая противника почти ежедневными боями, через Влодаву к Бресту, к которому подошли в первых числах августа. За этот монотонный и томительный период (дрались, недосыпали, маршировали ночами, копали днем, несли потери) крупным внутренним событием явилась смена командира корпуса. Приходившийся по вкусу гвардии Безобразов сцепился по какому-то тактическому вопросу с тогдашним командующим 3-ей армией **), в составе которой

*) Бывший Лейб-Егерь и офицер Генерального штаба, сын другого почтенного Лейб-Егеря. Оба сына генерала В. В. Нотбека во время войны служили в Егерском полку.

**) Генерал Лещ, сменивший Радко-Дмитриева. Последнего сделали козлом отпущения за стратегический недосмотр Ставки.

мы вели бои под Холмом, и, потеряв, по обыкновению, равновесие, апеллировал, на правах генерал-адъютанта, к Государю! Кончилась эта схватка отъездом Безобразова в Ставку, привезшего туда свою раз навсегда установившуюся ненависть к генералу Лешу, и назначением к нам корпусным командиром генерала Олохова.

Это был бывший офицер Генерального штаба, спокойный и дельный, имевший и гвардейский стаж, так как командовал и гвардейским пехотным полком и одной из гвардейских дивизий.

Олохов приехал в полк, когда мы готовились за Брест-Литовском погрузиться в поезда, чтобы следовать на север, в район Вильны, куда, точно, мы, конечно, не знали. Но было известно, что и там начала серьезно портиться обстановка.

Новый командир корпуса, поздоровавшись с теми частями полка, которые можно было ему показать в суете железнодорожной посадки, отвел меня в сторону, на пустые запасные пути, и здесь, гуляя и по-товарищески, допросил, как я справляюсь с полком. В то время мои первые впечатления успели сгладиться под влиянием сильных боевых испытаний, в которых, казалось мне, установилось взаимное понимание и взаимное уважение между офицерами и командиром. Я переживал медовый месяц своего союза с Измайловским полком, обнаруживая в нем скрытые добрые качества и возможности. Как раз в те дни конца июля я написал своей жене: « Становлюсь до корней волос Измайловцем ».

— Мне известно, как удачно вы сумели прийти по душе и по вкусу офицерству. Это немалое достижение, ибо Измайловцы всегда славились капризным отношением к своим командирам, — и затем прибавил смеясь: — Подавай им, по меньшей мере, Кавалергарда!

Слышать со стороны о том, что я как будто достиг первоначальной цели своей программы и приблизил прямою и простотою сердца офицеров, было приятно. Увы, не за горами ожидали меня разочарования. Семейное счастье с измайловским офицерством, плохо дававшееся их командирам, оказалось недолговечным и для меня.

Погрузка была закончена на станции Березовка 5 августа. В составе дивизии нас перебросили по железной дороге до Вилейки; затем, нервно и суетливо, повернули круто на восток, видимо, на защиту подступов к Петербургу; успокоившись, вернули с полдороги назад и, наконец, высадили 9 августа в Вильно.

Отсюда, походом, 1-я гвардейская пехотная дивизия и вообще весь Гвардейский корпус были двинуты на пути к северу от Вильны. Противник стремился охватить нас в этом направлении. Нам надлежало его в лучшем случае отбросить, в худшем — остановить.

В середине августа (начиная с 18-го) и до первых чисел сентября на подступах к Вильне шли упорные бои, в которых гвардия сдержала напор германцев. Но силы их, особенно артиллерия и пулеметы, неизменно превосходили наши, и приходилось шаг за шагом подаваться назад.

Крайним северным рубежом, до которого 17 августа дошли Измайловцы, были позиции впереди Колонии Консыставо (верст 80 от Вильны). Здесь мы натолкнулись на крепко занятую и природно сильную позицию у д. Явнюны, сбить немцев с которой не удалось ни Преображенцам у Гудулина, ни Семеновцам, ни Измайловцам; эти три полка имели охватывающее положение, но противник всюду командовал со своих высот. Мы понесли чувствительные потери.

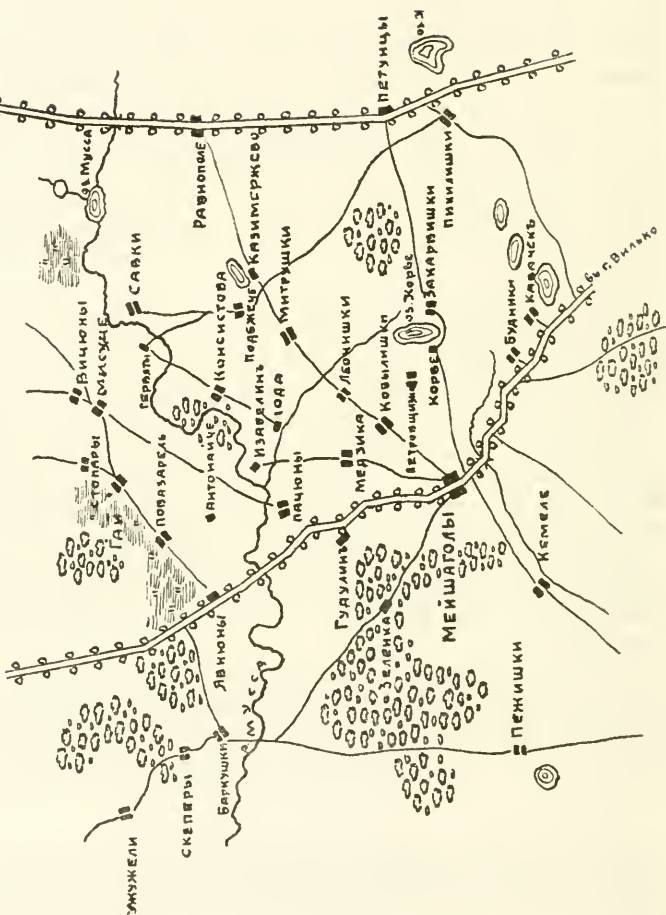
Измайловцы потеряли, из офицеров, храброго в военное, а в мирное время беспутного Скобельцына *), командира 4-го батальона, и талантливого поэта Бориса Хомутова **).

27-го августа, под Консыставом, мы получили известие, что в командование армиями вступил сам Государь. Прокричали в резерве « ура » и проиграли гимн, но чувство было смешанное и неясное. Великий Князь

*) Паж, одного выпуска с моим братом (1891).

**) Хомутова принесли в землянку, когда я находился на позиции и шел артиллерийский бой. Раны его (от пулемета) в область живота были безнадежны. Он весь был в глине, так как упал ничком. Я обмыл ему лицо и руки холодным чаем и старался его приободрить и обласкать. Бедняга пожал мою руку и сказал: « Какой вы добрый, господин полковник! ». Я никогда не забуду этих слов и страдающего взгляда его красивых глаз. Он скончался в тот же вечер.

АВГУСТЪ. СЕНТЯБРЬ 1915.



Николай Николаевич, правда, не оправдал быстро созданную ему репутацию великого стратега, не обнаружив основного условия для этого диплома. Ни тени предусмотрительности. Но и Государь, как стратег, был большим вопросом. Очевидно настоящим Верховным Главнокомандующим становился новый начальник штаба — М. В. Алексеев, неизмеримо более к этой роли подготовленный, чем его предшественник, ничтожный и сладкий Янушкевич.

Получив подкрепления, немцы против нас перешли в наступление и вынудили к отходу, который вначале принял беспорядочный характер, — дело происходило днем. Однако с этим удалось быстро справиться, и к вечеру полк стройно занял новую позицию. На ней 30-го я командовал 2-й бригадой дивизии (Измайловцами и Егерями), успешно отбил серьезную атаку немцев и заслужил свои генеральские погоны.

При отходе на эту позицию произошло мое первое столкновение, по полковому телефону, с Нотбеком, начальником дивизии. Он позволил себе резко отозваться о действиях полка, в почти угрожающих тонах, совершенно не отдавая себе отчета в том, что во все эти тяжелые дни сделал полк, теперь оставшийся почти без офицеров и сжавшийся до 800-900 человек. Я вспылil и не менее резко оборвал генерала. Полк исполняет свой долг и не заслужил разноса на поле сражения. Что касается до его командира, то он готов сдать полк другому.

Нотбек «сократился». Но, как покажет будущее, не переменялся в своих отношениях к Измайловцам и их командиру.

После боя 30 августа полк был «на минутку» осажжен в резерв. Дивизия, в зависимости от давления немцев то в одном месте, то в другом, передвигалась, подаваясь назад и влево. В первых числах сентября главнейшая угроза обозначилась на шоссе Мейшаголы-Вильно. Гвардия вошла на этом участке в боевую линию и загрозила немцам дорогу. В ночь на 3-е сентября Измайловцы сменили на фронте в окопах лейб-гвардии 4-й Императорской Фамилии стрелковый полк. Я нашел командира, знакомого еще по Пажескому корпусу — Н. Н. Скалона (Георгиевского кавалера за японскую войну, сослуживца по 10-му армейскому корпусу,

где Скалон командовал в 9-й дивизии 36-м пехотным Орловским полком), спокойно сидящим в какой-то одинокой халупе, шагах в 800-1000 от передовых окопов. Противник его пока что не тревожил, и он чувствовал себя прекрасно.

Это место штаба напомнило мне знаменитый блиндаж на лысине под Мезенцом одиннадцать месяцев тому назад. Управлять полком в случае боя с линии батальонных резервов было бы чрезвычайно трудно, и, может быть, пришлось бы уходить под огнем, снимая телефоны.

Учтя эти неприятные возможности, я приказал расположить штаб полка далее в глубине, где за серединою участка и у проходившего здесь шоссе удобно находился лесок. Раскинув близ самой опушки свой цыганский табор, штаб погрузился в сон. Но сон оказался кратким. Едва стал пробиваться первый свет, часов в 5 утра, как нас разбудила артиллерийская бомбардировка. Немцы обрушились на измайловский участок. Вскоре начали отвечать наши батареи. Загорелся бой.

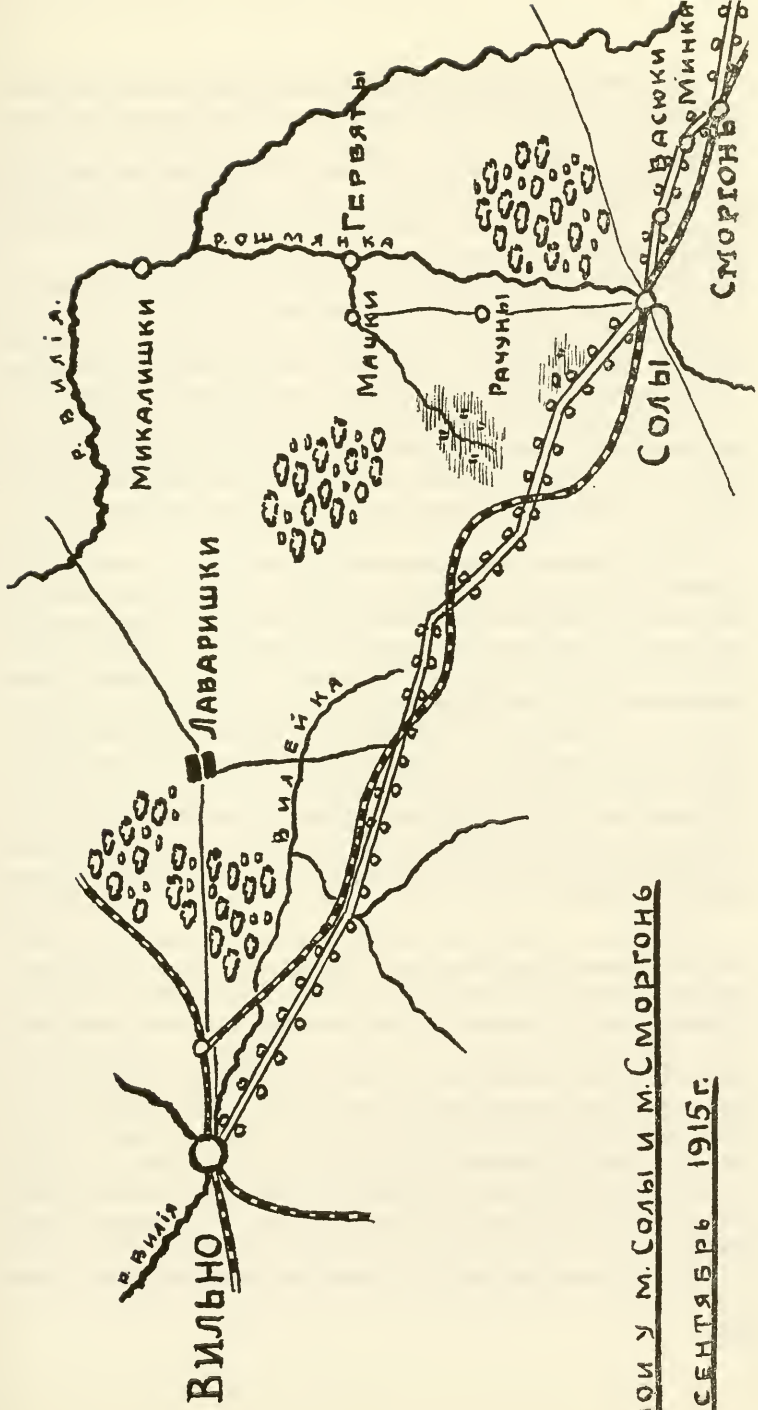
Силенок у нас было мало, но мы вышли в тот памятный день из тяжелого положения с честью, лишь немного осадив на позиции и остановив дальнейшее продвижение несомненно превосходных сил противника на следующем гребешке.

Одинокая халупа штаба Императорских стрелков оказалась в той полосе, которую нам пришлось уступить противнику.

Немцы наступали так бодро, что были видны невооруженным глазом с наших батарей, и два батарейных командира приехали ко мне просить разрешения сняться с позиций, чтобы не потерять орудий.

— Ни в каком случае, — приказал я. — Наоборот, усильте огонь и продолжайте его, хотя бы понадобилось перейти на картечь.

Не сомневаюсь, что эта непоколебимость нашего артиллерийского щита, в связи с симулированным подходом на виду противника несуществовавших резервов — писаря и музыканты при штабе, предводимые полковым адъютантом (это была его блестящая идея) — существенно повлияли на благополучный для нас исход дела. А были жуткие часы!



Бои у м. Соли и м. Сморгонь

сентябрь 1915г.

Бой этот мы называли «Линдиснишки» по имени широко разбросанной в этих холмах захудалой деревни.

Мы провели затем тревожный темный вечер, так как у гвардейских стрелков, влево, в стыке с нами, был большой лес, и им все чудилось, что немцы туда просочились и что это лежит на нашей совести!

Незадолго до полуночи, однако, получилось приказание отступить далее, к Вильно.

Отход совершился беспрепятственно, под покровом ночи, и на другой день части 1-ой гвардейской пехотной дивизии еще раз вступили в литовскую столицу.

Здесь была объявлена дневка. Полк расположили по квартирам вблизи Антоколя. Я имел случай взглянуть на тот дом, где жил мой отец в 1898-99 гг. и где я бывал в чине подпоручика лейб-гвардии Егерского полка.

Воспользовавшись дневкой, я съездил в штаб 10-й армии, в которую мы тогда входили, чтобы узнать обстановку в широких чертах. Черты эти складывались для нас в довольно неприятную гримасу. Противник на этом Северном фронте пытался левой частью стратегических клещей (правой он давил с юга) как можно глубже охватить нас с фланга и с тыла и отрезать войска, действовавшие в Виленском районе. Неприятелю, таким образом, было на руку наше здесь упорство. Но понимали это и мы, и было решено произвести большой отход, с тем чтобы оторваться от немцев и уничтожить ту форму мешка, которую принял в этом районе абрис нашего фронта.

Вечером... сентября выступили в общем направлении на Солы и Сморгонь, на юго-восток. Два-три последующих перехода гвардии представляли собой явление редкое. Пехота вместе с артиллерией шла в узкой полосе предоставленных им немногих дорог; противник наседал сзади и обозначал свое пребывание справа и слева. Ночью, когда немцы пускали свои зеленые ракеты, было очевидно, что мы идем окруженные с трех сторон и что противник стремится преградить нам путь и с четвертой стороны. Командир Преображенцев граф Игнатьев при встрече со мной сказал: «Идем в Потсдам!».

Впоследствии, район, в котором мы двигались, на-

несенный на карту, вырисовался в форме груши, узкая часть которой была обращена к нашим тылам. Через это горлышко, в конце концов, гвардия благополучно проскочила и вышла из ловушки. Фронтовому и армейскому командованию удалось остановить, а затем отогнуть немецкие клещи.

7 сентября полк поставили в резерв за позицией у господского двора Рачуны. Впереди шел оживленный бой в течение недели, маленький помещичий дом, где сбилось в кучу несколько штабов и где я спал под роялем, обсыпало осколками и шрапнельными пулями, но в дело Измайловцев не ввели.

Я вынужден был свести полк в два батальона. В нем оставалось 8 офицеров и 800 солдат. Все — не офицеры и солдаты, а тени.

Под Рачунами мы простояли трое суток и были двинуты далее на юго-восток, через Солы к Сморгони. У Солы мы увидели еще свежие следы кавалерийского немецкого набега, — произведенные разрушения. Переход до Сморгони был невелик, и еще до полудня 11 сентября полк достиг назначенной ему линии, шедшей влево и к югу от самого города Сморгони. Город заняли Лейб-Егеря, а левее Измайловцев стали Семеновцы. Преображенцев назначили в резерв.

Едва я успел дать указания по разбивке и укреплению позиции, как над нами разорвалась пара шрапнелей, за которой последовало несколько беглых очередей. Очевидно, какие-то два конных орудия противника успели подъехать близко, опередив пехоту, и хорошо увидели наши цепи, приступавшие к самоокапыванию.

Штаб полка вместе со штабом Преображенцев расположился верстах в двух за позицией, в железнодорожной будке, которую мы заслуженно прозвали «клоповником».

Под Сморгонью гвардия простояла две недели, до 26 сентября. Не считая артиллерийского огня, боев не было. Противник выдохся и только раз попробовал атаковать непосредственно левее 1-ой гвардейской дивизии, но был отбит. Ход этого последнего боя можно было довольно хорошо наблюдать с фланга, с наших позиций. На них мы углубляли и совершенствовали свои окопы. В брошенную жителями Сморгонь солдатня

ходила за так называемыми «покупками», возвращаясь с разною дрянью, а иногда и с хорошими товарами, вроде, например, сапожного, которым славилась Сморгонь. Знаю только, что впоследствии один из полковых мастеров-сапожников сшил мне превосходные высокие сапоги из отличной сморгонской шагрени. Я довольно щедро заплатил сапожнику по петербургским ценам, но не спрашивал, во что ему обошлась шагрень в Сморгони!

Набеги на город дали возможность командиру 8-й сводной роты штабс-капитану Козеко удовлетворить его артистический вкус (он пописывал недурные стихи) и превратить свой командирский блиндаж в кокетливый будуар, с подушками, коврами и занавесками.

Я посещал окопы чаще по вечерам, так как тогда можно было незаметно подъехать с тыла даже в полковой бричке. Раз как-то, по возвращении в «клоповник», меня вызвал по телефону командир 2-го сводного батальона Николай Владимирович Муфель.

— Едва вы отъехали — доложил он, — как граната ударила точно в то место, где вы сиделись в экипаж. Позвольте вас поздравить!

Тут я вспомнил, что действительно слышал, отъезжая, одиночный удар гранаты позади, но не обратил на это внимания.

Хуже гранатных развлечений был неожиданный налет начальника дивизии. Нотбек, в одиночестве, пришел пешком с тыла вдоль линии железной дороги. Я его встретил у «клоповника» и отпраповал, в ответ на что Нотбек, худой, желто-бледный и злой, сделал мне резкий выговор за дурную дисциплину в полку. Ему попался по дороге солдат, который не узнал генерала, кое-как отдал честь, был неряшливо одет и т. п.

К сожалению, тот небольшой запас подтянутости мирного порядка, который я нашел в полку при приеме три месяца тому назад, был растерян и утрачен. Постоянные бои, отсутствие сна и отдыха, окопная жизнь, марши не давали возможности оглядеться и заняться внешним видом людей.

Теперь, казалось, операции замирали (хотя в районе Вилейки только что удалось парализовать грозивший прорыв немцев). С наступлением более спокойно-го времени можно было обратиться к постепенному

превращению офицеров и солдат — теней в прежнюю плоть и кровь.

Я решил посмотреть роты (их стало немного) в сомкнутом строю и задать им тон. У самого штаба полка находилась удобная площадка, к которой можно было подвести роту в мелких строях, скрытно, через ряд небольших молодых рощ.

Рота выводилась сначала в резерв, а затем я вызывал ее к себе. Легкие смотры эти я производил обыкновенно утром. Был в этом известный риск, так как и будка наша иногда обстреливалась, да и аэропланы летали. Но, к счастью, все обошлось благополучно, и только в одной роте, при ее возвращении, ранило легко двух солдат.

И это была рота, представившаяся хуже других!

Вид у нее оказался как в воду опущенный. Лица унылые, одежда бестолково пригнанная. Ответ на мое приветствие вялый.

Объявив роте о своем первом впечатлении, я посмотрел с сожалением на печального ротного командира капитана Ф. и сказал :

— Да и ротный командир не побрился!

Действительно, на щеках у него была щетина, по меньшей мере, трех дней.

Плохо проделали и несложное сомкнутое ученье.

Зато, помню, другая рота (молодцеватого Подладчиков) представилась нарядно и почти по-красносельскому.

Значит можно было и в тех трудных условиях, при желании, добиваться порядка и приличного воинского вида.

К достижению результатов в этом направлении мы и приступили начиная со Сморгони.

Гвардию сменили здесь армейские части 26 сентября и двинули на квартиры в районе среднего, так называемого « Западного » фронта, в широком пространстве в районе Поставы, к югу от озера Нароч. Полку было назначено большое село Сергеевичи с окружающими мелкими деревнями. Но нас вначале было так мало, что почти весь полк поместился в Сергеевичах.

Здесь, в стратегическом резерве, простояли мы около шести недель, прибыв 2 октября и выступив на юг, в Галицию, 14 ноября. К границе нас подвезли по же-

лезной дороге, потом мы шли — в большой мороз и при ледяном встречном ветре — пешком. Стали вокруг Волочиска около 30 ноября; Измайловцы — в большом селе Остапье; штаб полка в замке какого-то польского графа.

Под Рождество гвардию перевели дальше на юг, причем Измайловцев расположили на широких квартирах вокруг с. Мыслова Русское по р. Збручу, на австрийской границе.

Мысль о передвижении гвардии на юг была связана с зимней наступательной там операцией 7-ой армии. Но она не удалась, и к помощи стратегического резерва для развития успеха прибегнуть не пришлось.

Зато с октября по декабрь наша мысль была занята обещанным смотром гвардии Государем. Фактически после нескольких фальшивых тревог, смотр состоялся 15 декабря, под Волочиском. Он оставил мрачное впечатление. Государь приехал к 1-ой дивизии в полной уже темноте. Люди, стоявшие по щиколотку в грязи размокшей пахоти, не могли видеть Царя. Лично меня он узнал и сказал несколько милостивых слов. После смотра все начальники отдельных частей были приглашены на обед в вагоне Государя. Он был гостеприимен, но крайне бледен, — и физически и в разговоре. За столом я сидел несколько наискосок от Государя; казалось, он очень устал и был рад, когда вся эта церемония кончилась и он прощально пожал нам руки. Мы не могли думать тогда, что это было настоящим прощанием!

С вопросом о Царском смотре связано следующее бытовое воспоминание. В конце октября, под Сергеевичами, наладив обучение полка с азов и добившись уже кое-каких результатов в области возвращения к гвардейскому виду, я уехал в отпуск на три недели.

Не успел я приехать в Петербург (моя семья жила тогда в Финляндии), как мне передали из запасного батальона полка, что почти назначен день Царского смотра и что он должен состояться на фронте в ближайшее время.

Мне ничего не оставалось как сейчас же сесть в обратный поезд и вернуться к полку.

Приехал я туда, никого не предупредив, вечером, часов в 9, когда было уже совершенно темно. Когда я

вошел в зальце дома, который занимал штаб полка, передо мной открылась живая и неожиданная картина: вокруг длинного стола посередине комнаты сидело несколько офицеров во главе с моим заместителем — старшим полковником — вперемешку с дамами. Компания эта заканчивала свой ужин.

Дамы оказались женами соответствующих офицеров. На хозяйском месте председательствовала жена старшего полковника...

Все сконфуженно встали. Смущение и ошарашенность хозяев и гостей можно было сравнить с последней, немой сценой из «Ревизора».

Я предложил продолжать трапезу и выразил свое «приятное» удивление видеть полковых дам в семейной обстановке на фронте. Председательский стул опустился, и я сел на него.

Полковой адъютант между тем справлялся по телефону насчет смотра. Оказалось, что его не будет, и, следовательно, я мог ехать назад в Петербург.

Поиграв в любезного хозяина с час, я покинул милую компанию, чтобы поймать свой поезд. До железной дороги нужно было ехать еще несколько верст на лошадях.

Под Волочиским гвардия простояла в резерве около двух с половиною месяцев. За это время совершилось переформирование ее в три корпуса — два пехотных и кавалерийский. Получилась маленькая армия, которой присвоили название «войск гвардии». Командовать ими вызвали традиционного Безобразова. Начальником штаба к нему назначили моего недавнего постоянного боевого соседа, командира Преображенцев графа Н. Н. Игнатьева.

В середине февраля 1916 г. нашу группу перевезли на Северный фронт. Она продолжала оставаться в резерве Ставки. Широкие квартиры сначала были отведены вокруг Режицы (в тылу Двинска). Полк осел в своих деревнях 22 февраля.

К Пасхе нас передвинули слегка на юг, и мы встретили ее 10 апреля в м. Прели, где штаб полка располагался в довольно удобной барской усадьбе.

7 мая двинулись еще более на юг, походом, в район Западного (среднего) фронта, где расположились, начиная с 17 мая, вокруг м. Глубокое.

Все эти месяцы пребывания в резерве позволили серьезно налечь на обучение, воспитание и приведение полка в порядок, по существу и по виду. Я образовал полевую учебную команду для подъема унтер-офицеров на уровень знающих заместителей офицеров. На этот важный вопрос, возникавший каждый раз в упорном бою, в войсках не обращалось должного внимания. Получилась своего рода полковая академия, в которой все, начиная с отдания чести, преподавалось выбранными специалистами. Я сам вел популярный курс тактики.

Вместо пришедшего в негодность снаряжения (ранцы были давно утрачены) выработали из подручного материала род брезентовой спинной котомки и однообразную, аккуратную пригонку всего снаряжения. Внешность солдата немедленно выиграла. Из других полков прислали людей посмотреть изобретение Измайловцев и перенять его.

Я лично руководил тактическими учениями рот, стараясь развить в этом отношении молодых офицеров и унтер-офицеров.

Результаты, в смысле восстановления гвардейства, были представлены весьма успешно гвардейскому капризному начальству, съехавшемуся на полковой праздник 29 мая. Роты проходили церемониальным маршем в развернутом строю, имея тогда после пополнения 100 рядов! Равнение и шаг поразили гвардейских командиров, набивших себе руку и глаз на красносельской парадности и отчетливости.

Примерно через месяц такое же впечатление произвел полк на походе, « бурей » пройдя мимо Безобразова в Молодечно. Несмотря на пыль, жару, потные лица, люди выглядели бодро и молодцами, а колонны, носка ружья и свободный шаг не оставляли желать лучшего.

За эти месяцы мне удалось добиться того, что офицеры заразились самолюбивым желанием щеголять выправкой полка перед другими и среди командного состава у меня образовалось много искренних союзников.

В этом путешествии « в гору », которое я начал год тому назад, впереди рисовалась уже заветная вершина.

Но 11 июня, во время следующего похода гвардии

дальше на юг, из района Глубокого в район Молодечно, я был неожиданно вызван в штаб « войск гвардии » для временного исполнения должности генерал-квартирмейстера. Оно превратилось в постоянное. Через месяц, уже на Стоходе, во время боев под Луцком, состоялись почти одновременно мое назначение и мое производство в генерал-майоры со старшинством с 30 августа 1915 года.

Вместе с тем, я был зачислен в списки лейб-гвардии Измайловского полка. Это давало мне право пожизненного ношения полкового мундира.

Когда я еще стоял одной ногой в полку, а другой в штабе, мне привелось дважды представлять полк : 26 июня офицеры-Преображенцы дали торжественный обед офицерам-Измайловцам, как своим неизменным и прочным боевым соседям и товарищам. Такой привет и такое братское объединение были случаем необыкновенным. Они свидетельствовали о той высокой, чисто боевой репутации, которую заслужили Измайловцы в глазах таких же прочных и доблестных Преображенцев.

Другой случай — представление полка в строю новому корпусному командиру Великому Князю Павлу Александровичу.

Великий Князь высказал мне свое сожаление, что « такой блестящий (или что-то вроде этого) командир покидает полк ».

.

Форма одежды Измайловского полка сходилась с козловскою в том что и у него, как у третьего полка в дивизии, были белые околыши на фуражках и петлицы на воротниках шинелей. Но лацкан на мундире был красный с белой вокруг опушкой.

Головной убор при парадной форме — ведрообразный кивер, напоминавший эпоху Наполеоновских войн, но низкий. Солдаты имели коротенькие твердые султанчики; офицеры — высокие, белого цвета. У генералов султан был трехцветный из петушиных перьев, черно-желто-белый.

По воротнику мундира у офицеров и на клапанах общлагов шло золотое шитье. Каждый гвардейский

полк имел свое особенное. Измайловское представляло собою как бы заплетенную женскую косу, кончавшуюся кисточкой. Вокруг этого шитья прочно утвердилась легенда, что когда при основании полка спросили Императрицу Анну какое дать полку шитье, она показала на свою косу, которую как раз в то время заплетала.

Ни один из полковых историков не потрудился разобратся в этом сказании, хотя и романтично-красивом, но лишенном основания: дело в том, что в 18-м веке у офицеров русской гвардии на тогдашних длиннополых кафтанах вовсе не было шитья, а борты и петли были обшиты галунным, для всех одинаковым позументом. Единственное, что сделали историки, — обошли этот вопрос молчанием.

Между тем, помимо опровержения легенды, представляло интерес выяснить происхождение шитья-косы, фактически введенного лишь с 1800 года, при переходе от кафтанов к мундирам со стоячим воротником.

Как документально опровергнуть легенду, так и установить откуда Измайловцы получили свое шитье, выпало на мою долю. Занялся я этим в эмиграции в 1938 году. Списавшись с берлинским Цейхгаузом и с немецким художником-экспертом по формам, я не только точно определил, что шитье было заимствовано из Пруссии, но и получил в подарок воротник Берлинского кадетского корпуса с вышитой на нем золотом косой с кисточкой, совершенно идентичный с измайловским. Разница заключалась только в том, что последний был темно-зеленого сукна с красным кантом, а немецкий — красного с синим кантом.

В Пруссии история этого шитья относится не ближе как к 1720 году, когда оно впервые принадлежало гвардейскому гренадерскому батальону. В Лондоне мне удалось достать репродукцию фамильного портрета, на котором изображен молодой Фридрих II с семейством. Все мужчины в кафтанах гвардейского гренадерского батальона с описанным шитьем по петлицам и на обшлагах. Впоследствии, этой части, уже в мундирный период, дали другое шитье (плоское, серебряное), но старое сохранилось вплоть до 1918 г. в Берлинском кадетском корпусе.

Такова подлинная история происхождения шитья — косы лейб-гвардии Измайловского полка.

Расставаться с полком было тяжело. Став искренним Измайловцем, задавшись целью поднять полк на пьедестал, которого он заслуживал всей своей почти двухвековой славной историей, я вложил в работу все свое понимание и все сердце. Каковы бы ни были подчас огорчения и разочарования, плоды этого труда становились очевиднее и очевиднее. Падали препятствия, строился новый фасад на прочном фундаменте полковых чести, достоинства, самолюбия и традиций. Еще бы год — другой, мечтал я, — и обновленное здание гордо и красиво возвысится, подведенное под купол.

Но шла война. Рассчитывать на год — другой командования вообще было невозможно, даже если не знать, что готовила всем нам судьба в недалеком будущем...

Именно потому, что, командуя Измайловцами, я решал сложную задачу, полк стал моим «детисцем»; так выразился я в письме к своей жене, когда сообщал о моем уходе и вызванных им грустных чувствах.

Начальником 1-ой гвардейской пехотной дивизии был отдан по моему адресу прощально-благодарственный приказ. Как видно из предыдущего, Нотбек не выказывал в течение моего командования избытка приязни к Измайловскому полку и его командиру. Тем более поразил меня тон этого последнего приказа, звучавшего как проявление искренней дружбы и неподдельной теплоты. Приказ сохранился у меня.

В эмиграции, многочисленный Союз зарубежных Измайловцев преподнес мне ко дню 40-летия со времени производства в офицеры, в 1935 году, художественно исполненный адрес с рядом схем походов 1915 г. и иллюстраций. Первыми подписали адрес Великие Князья Андрей Владимирович (Измайловец со дня рождения) и Гавриил Константинович (ставший зарубежным Измайловцем *).

Кроме того, редактор-издатель «Измайловской Старины» поместил в № 24 мою биографию и воспоми-

*) Брат Константина Константиновича, служившего в полку при мне и зверски убитого большевиками в июне 1918 г. Это был красивый, жизнерадостный и всеми любимый юноша, продолжавший в полку Константиновскую династию, заложенную его замечательным отцом.

вание о моем командовании одного из офицеров (Б. В. Фомина).

В 1939 году после кончины Н. М. Киселевского, я сделался Председателем Измайловского Союза, как бы снова вступив в командование Измайловцами, — увы, без солдат.



**Полковник Б. В. Геруа — и д.
генерал-квартирмейстера штаба
войск гвардии. Молодечно,
июнь 1916 г.**

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕРСТВО В ШТАБЕ ОСОБОЙ АРМИИ

Хотя я и отказался весной 1915 г. от предложенной мне должности генерал-квартирмейстера, предпочтя полк, судьбе было угодно настоять примерно через год на моем назначении генерал-квартирмейстером.

В конце 1915 года из войск Гвардейского корпуса было образовано три корпуса: два пехотных (каждый по две дивизии) и один кавалерийский (2 дивизии). Это не вызывало новых формирований. 3-я гвардейская пехотная дивизия, действовавшая до того в отделе, была притянута и составила с гвардейской стрелковой дивизией 2-ой гвардейский корпус. Вся конница тоже была собрана и сведена в корпус.

В сущности, образовали новую маленькую частную армию из отборных частей, по-видимому, в целях иметь «ударный» резерв, и наименовали ее «войска гвардии».

Армейское управление ее составилось из кадров штаба гвардейского корпуса, а во главе этого «отряда», как его называли сначала, был поставлен бывший корпусной командир, популярный в гвардии генерал-адъютант В. М. Безобразов *).

Начальником штаба он выбрал к себе командира Преображенского полка Свиты Его Величества генерал-майора графа Н. Н. Игнатьева (товарища моего брата по Пажескому корпусу и нашего свойственника по бабушке Пелино). Игнатьев кончил Академию од-

*) Он был не у дел с конца июля 1915 г. после своей ссоры с командовавшим 3-ей армией генералом Лешем во время нашего отхода от Холма.

новременно с моим братом, но в Генеральный штаб не пошел, отказавшись от внеочередного производства в чин, и вернулся в свой Преображенский полк. Перед началом войны он стал его командиром.

На должность генерал-квартирмейстера, сначала получившую название « обер-квартирмейстера », пригласили полковника В. Н. Доманевского, до того состоявшего при штабе Гвардейского корпуса « для поручений ».

С самого начала войны этот офицер Генерального штаба завоевал себе в управлении корпусом выдающееся положение. Кому-нибудь нужно было занять такое положение знающего и энергичного штабного офицера, ибо начальником штаба корпуса первое время был граф Ностиц — величина светская и добродушная, но в смысле знаний и опыта совершенно отрицательная. Наверху, над Ностицем, стоял Безобразов, здравого смысла которого было недостаточно, чтобы возместить отсутствие военно-научного образования. Штабная работа для этого гвардейского кавалериста представлялась делом простым. Требовалось нечто вроде строевого порядка, а о ремесле оперативных распоряжений Безобразов, или « воевода », как его называли в гвардии, не имел понятия. Он не мог « направлять » своего начальника штаба, и оба они — без Доманевского или какого-либо другого властного и осведомленного офицера — представляли бы в стратегическом управлении корпусом на войне корабль без руля и без ветрил.

Низы штаба Гвардейского корпуса составлялись по признаку, главным образом, принадлежности к гвардейским войскам и даже, по возможности, отдаленности от службы в Генеральном штабе. Доманевский в этой среде, со своим честолюбием и охотою быть заправилой (*grand faiseur*), естественно и скоро сделался тем центром в штабе корпуса, к которому потянулись все нити.

В тот период, когда штаб корпуса развернулся в штаб Гвардейского Отряда, а Доманевский стал обер-квартирмейстером, его помещение превратилось в приемную, в которую являлись не по одним вопросам квартирмейстерской части; там можно было увидеть и начальника артиллерии, и санитарного инспектора, и ко-

мандиров полков, и краснокрестных деятелей. Доманевский выслушивал просьбы, брался устраивать дела и перемещения, плел сети всевозможных интриг. Приехать в штаб Отряда и миновать Доманевского было нельзя.

Никто не пытался оспаривать положение, захваченное им в штабе гвардии. Про него говорили: «Талантливый Доманевский».

Вдумываясь, однако, в действия гвардии в те периоды, когда его участие и влияние были вне сомнения, не видно, чтобы талантливость Доманевского оставила по себе заметные следы. В Люблинских боях осенью 1914 г. Гвардейский корпус вводился в дело по частям (в чем управление корпуса, впрочем, было мало повинно) и бои не связались в общую корпусную операцию.

Ломжинский эпизод в феврале 1915 г., когда три гвардейские дивизии были остановлены во встречном бою германской ландверной бригадой, потеснены ею назад и принуждены к обороне, представляет собою печальный пример управления.

Нельзя было признать талантливым и литературное произведение, оставшееся в руках Безобразова, — в подкрепление кавалерийских идей последнего, — об употреблении Гвардейского конного корпуса в массе для нанесения удара противнику в решительную минуту боя. Странна была эта проповедь в 1916 году тактики кавалерии Мюрата 1812 года. Но выбить эту мысль из головы Безобразова было невозможно и гвардейская кавалерия во время Стоходских боев летом 1916 г. береглась для того, чтобы ринуться в тамошние мшисто-болотистые теснины под пулеметами противника!

Мне лично не пришлось наблюдать оперативную работу Доманевского; я никогда с ним не служил; но по рассказам сужу, что он обладал большой работоспособностью и огромной памятью. Но также и огромным самомнением, которое превосходило размер его полезных способностей.

Вскоре после Ломжинских боев, насколько помню, Доманевский уехал командовать одним из уланских полков и был возвращен в штаб гвардии, как я уже упомянул, в конце 1915 г. на определенную теперь от-

ветственную должность руководителя оперативной части в штабе под начальством графа Игнатьева.

Доманевский оставался все тем же природным «заправилой», но Игнатьев не был повторением безличного и бесхарактерного Ностица *).

Несмотря на свою грузную с детства фигуру и физическую мягкость, — в корпусе Игнатьева прозвали «дядя Распух», — он в нужных случаях был далек от мягкости.

Твердость свою он доказал в тяжелых боях Преображенцев во время летних и осенних отступательных операций 1915 года. Вместе с тем он был умен и самолюбив. В служебных отношениях, как я смог убедиться, Игнатьев доверял своим помощникам и предоставлял им свободу, но это не значило, что он позволил бы подчиненному «сесть себе на шею» и еще менее выказывать к себе открытое неуважение.

А это был как раз тот путь, на который вступил потерявший всякое чутье и зазнавшийся Доманевский.

Скромный по натуре Игнатьев сам сознавал свою неподготовленность к большой штабной работе и рад был учиться, но не выслушивать дерзости и насмешки от своего ближайшего помощника, хотя бы и с репутацией «талантливого». Игнатьев все же обнаружил довольно долгое терпение; тут могла играть роль поддержка Доманевского как Безобразовым, так и некоторыми старшими чинами вновь сформированного и еще не укрепившегося штаба. Кроме того, быть может в начале совместной работы Игнатьева и Доманевского последний только набирал силу и разбег, и поведение его было сравнительно приличным.

Но чем медленнее назревала ссора, тем круче и сильнее должен был оказаться конечный взрыв!

Гвардия в эти первые месяцы 1916 года не вела боев и не стояла на позициях, состоя в стратегическом резерве Главнокомандующего и перемещаясь в тылу, в зависимости от обстановки, с одного фронта на другой.

В первых числах июня мы шли походом с севера

*) Летом 1915 г. его заменил в штабе корпуса генерал Антипов — более опытный офицер Генерального штаба. В это время Доманевского в штабе не было. Не было и Безобразова. Корпусом командовал генерал Олохов, офицер Генерального штаба.

к Молодечно. Это было время удачного перехода в наступление Юго-Западного фронта генерал-адъютанта Брусилова и развития крупной победы под Луцком.

Кроме приятных и освежающих известий с этого фронта, стали доходить на марше и неприятные слухи из штаба Гвардейского Отряда, только что официально переименованного в «войска гвардии», а именно о разладе между Игнатьевым и Доманевским.

На следующий день, 9-го, я привел полк, исполняя маршрут, на очередную ночную стоянку. Расположив его по квартирам в деревушке и устроившись со штабом в отведенной мне избе, я умылся и пошел в близкое поле ржи пройтись перед ужином и отходом ко сну. Возвращаясь, я увидел, подходя к дому, полкового адъютанта, ожидавшего меня на пороге с каким-то пакетом.

— Из штаба «войск гвардии», привез мотоциклист, — доложил адъютант, — и ожидает ответа.

В глазах офицера, строго деловых, все же светилась искорка понятного любопытства.

Но я не мог удовлетворить его: в конверте заключалось письмо от Игнатьева — секретное.

В нем он спрашивал меня, соглашусь ли я принять должность генерал-квартирмейстера в штабе «войск гвардии».

В тот же день я простился с офицерами полка, сдав командование старшему полковнику, и выехал в Молодечно, где стоял штаб гвардии.

И Безобразов и Игнатьев встретили меня тепло, как гвардейского товарища и старого пажа. Игнатьев откровенно рассказал мне, что служба с Доманевским сделалась совершенно невыносимой и что даже «Воевода», которого Доманевский долго держал под обаянием своего авторитета, должен был, наконец, признать создавшиеся отношения невозможными. Доманевский к тому же постоянно пил и в «приподнятом настроении» превращался в заурядного нахала. Дерзил он, забываясь, и старику Безобразову не менее, чем Игнатьеву.

Я начал принимать должность и подчиненные мне части (телеграфные, авиационные), как вдруг появился Доманевский, решивший лично сдать должность и уйти «с треском». Он произнес речи перед телегра-

фистами и другими малочисленными командами, а в виде такого же жеста в отношении чинов квартирмейстерской части составил прощальный приказ, который вручил мне для отпечатания и издания. Содержание этого документа было изумительно: в нем сказался весь Доманевский и его мания величия.

К каждому из офицеров он обратился с отдельным словом начальнического наставления вроде «А полковнику Л. советую побольше выдержки» и т. д., заключив это отпуском всех прегрешений своих помощников, а мне — пожеланием удачно справиться со своей должностью.

Отдачей такого небывалого приказа Доманевский хотел, вероятно, заменить им благодарственный приказ самому себе, на который, разумеется, не мог рассчитывать в тех острых условиях.

Но, само собою понятно, что это произведение не увидело света, так как ни Игнатьев, ни я не могли допустить оглашение этого странного документа*).

В начале июля гвардия была посажена в поезда и перевезена на Юго-Западный фронт, к Луцку, где решили ввести ее в дело для развития достигнутого там успеха. Штаб погрузился 1 июля.

Таким образом, я сразу попадал с ним в гущу боевых действий и должен был на первых же порах окунуться в настоящую оперативную работу.

Нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя вполне в своей тарелке в новой роли.

Атмосфера в штабе была приятная и гвардейская, но в чисто штабном отношении не хватало должной техники. Я уже говорил выше, что преподавать и наладить ее не могли ни Безобразов, ни Игнатьев. За вычетом ушедшего Доманевского в штабе осталось всего два офицера с некоторым штабным опытом и в форме Генерального штаба. Умудрились составить штаб не только почти исключительно из гвардейских офицеров, но и продолжавших носить мундир своих полков. Так,

*) Копия его сохранилась в моем личном архиве — как курьез.

ответственным разведывательным отделением квартирмейстерской части ведал полковник лейб-гвардии Конного полка Н. Н. Б., с академическим значком, но до того никогда в штабах не служивший. Другим, второстепенным, отделением начальствовал полковник лейб-гвардии Гродненского полка В. Помощники начальников отделений в моем отделе были два Семеновца, один Лейб-Гренадер и один гвардейский конно-артиллерист, — все со школьной, академической скамьи, но не получившие еще права на перевод в Генеральный штаб и носившие форму своих частей.

С моим приездом появился еще один мундир, измайловский.

Этот строевой гвардейский вид штаба гвардии и почти полное отсутствие серебряного прибора и аксельбантов Генерального штаба, непопулярных в войсках, нравились гвардейскому офицерству. Когда какая-нибудь строевая часть проходила мимо нашего штаба, музыка или хор кавалерийских трубачей играли по одному колену трех полковых маршей: кавалергардского — для Безобразова, преображенского — для Игнатьева и измайловского — для Геруа.

Отношения у меня с Безобразовым и Игнатьевым установились прямые и добрые. Довольно скоро стало ясно, что мое «временное» командирование решено превратить в постоянное назначение. Возникал вопрос, как быть с моим полковничьим чином и с полком? Назначить меня генерал-квартирмейстером до утверждения в должности командира полка, то есть до производства в генералы, было бы странно и неловко. На это я не мог согласиться, и оба мои начальника хорошо это понимали. Повторялась скучная история с Козловским полком!

К производству я был представлен за боевое отличие 30 августа 1915 г. в день, когда я командовал, при отходе к Вильно, родной 2-ой бригадой, состоявшей из Измайловского и Егерского полков. Но это представление совершало утомительное «хождение по мукам», то есть по высшим штабам, в которых оно либо попадало «под выжидательное сукно», либо просто погребалось, либо снова выплывало на свет Божий. Просматривая мои письма к жене за этот период, я вижу, что порядочно надоедал ей вестями о приключениях

этого незадачливого путешественника — моего производства. Вспоминались слова А. С. Саввича: «Поразительно, с каким трудом дается вам то, что причитается, и что другие получают без малейшего труда и волокиты».

Но теперь, под крылом Безобразова, умевшего стоять за своих подчиненных, дело это приняло более энергичный и благоприятный оборот, и мне оставалось недолго ждать своего превращения в генерала.

Познакомиться с Безобразовым ближе было интересно. Он получил первое понятие обо мне еще до войны, когда я исполнял обязанности начальника штаба пулеметных сборов Гвардейского корпуса, — два лета подряд, в 1913 и в 1914 годах. Он остался доволен организацией и проведением этих учебных стрельб и занятий, а также нашими подробными отчетами, выводы которых подтвердились наступившим вскоре боевым опытом. Мы указывали на то, что пулемет достиг зрелости и употребление его должно быть расширено; оно должно быть выведено из пробного периода, вследствие которого у нас на батальон полагалась жалкая пара пулеметов.

За мою работу на этих сборах Безобразов представил меня к ордену св. Владимира 3 ст. вне очереди, и я неожиданно для себя получил его 6 декабря 1914 года, будучи уже на фронте. Получил и недоумевал, — за что и откуда. Лишь по прибытии на службу в штаб «войск гвардии» я узнал источник награждения. Однажды Безобразов спросил меня, посмотрев на мой шейный крест, успевший украситься «мечами», тот ли это Владимир, к которому он меня представил два года тому назад.

В. М. Безобразов *) принадлежал к числу редких старших начальников, сумевших стать близко к войскам. Его знали и ценили офицеры, а через них верили в него и солдаты. Объяснялось это доступным, человеческим и заботливым характером Владимира Михай-

*) Родился в 1857 г. Из пажей вышел лейб-гвардии в Гусарский полк в 1877 г. Командир 26 Бугского драгунского (1896) и затем Кавалергардского полков. Далее — начальник Офицерской кавалерийской школы (1906), начальник гвардейской кавалерийской дивизии и командир Гвардейского корпуса (1911), Генерал-Адъютант. Скончался в Ницце в 1932 году.

ловича. Известная мягкость не мешала его служебной требовательности, которая в гвардии выражалась в достижении во всем отчетливости и в поддержании особого духа, построенного на том, что кому больше дано, с того больше и спросится. Безобразов считал, что гвардию на войне нужно беречь для крупных задач и не трепать ее по мелочам. Это ему она была обязана выводом в стратегический резерв в 1916 году для приведения в порядок, почти напоминавший мирное время, и в настоящую численность военного времени. В Измайловском полку под Сморгонью, осенью 1915 г., после 2 1/2-месячной боевой страды насчитывалось менее 1.000 чел. (800-900) и 12 офицеров, а на походе к Молодечно — 5.000, при почти полном числе офицеров.

Без помощи благоволившего к «Воеводе» Государя меру эту едва ли удалось бы провести. Но Безобразов ее добивался и добился, напоминая, что гвардия не только «ударное» войско, но и оплот престола. Государь поддержал.

К сожалению, как увидим в своем месте, наша тыловая гвардия, запасные петербургские полки, разросшиеся до размеров армии, но безоружные, бездельные и без офицеров, сохраняли свою независимость и оказались не оплотом, а одной из главных причин гибели престола.

А крепкие действующие войска находились далеко и были оторваны от столицы большим расстоянием, когда разразились первые волнения в Петербурге в 1917 году.

Хорошим качеством Безобразова было его желание учиться и также способность понять и принять новую мысль. Но в некоторых своих «коньках» он был упрям и несдвжим — как, например, в вопросе употребления конницы.

Владимир Михайлович умел слушать, но сам даром слова не обладал и начинал обыкновенно ставшей известной во всей гвардии фразой: «Ну вот это...».

Каждый офицер знал, что может, если нужно, непосредственно обратиться к гвардейскому «батюшке», который не откажет в искреннем и разумном совете, продиктованном житейскою мудростью, или в помощи.

Командовать гвардией, держать ее в руках и пользоваться общим ее доверием было нелегко: вокруг офи-

царства сплетались сложные петербургские влияния, в жизнь гвардии вмещивались Великие Князья, Двор, всяческие сановники и тузы, не говоря о дамских салонах с их маменьками и тетушками.

Угодить всем было невозможно, но Безобразов вел свою собственную прямую линию и не боялся наживать врагов на стороне. Их расплодилось во время войны много между Ставкой и Петербургом. Безобразов отдавал себе в этом отчет и как-то в откровенной беседе со мною сказал: «У меня есть доброжелатели, но врагов больше. Они свалят меня».

Слова эти оправдались, увы, слишком скоро!

Лично для себя Безобразов не искал почестей, но за вверенные ему войска болел и — как увидим ниже — не останавливался перед любыми средствами, чтобы заступиться за них и выдвинуть их заслуги, не прибегая при этом к прикрасам и искажениям.

Физически Владимир Михайлович был большой и несколько грузный человек, с крупными чертами лица, со слегка выющимися седыми волосами на голове и с еще темной бородкой. Один из адъютантов Безобразова уверял, что я, по этому признаку в распределении седины, его «двойник» или что нарочно загримировался под «Воеводу».

Последняя кличка подходила и к его древне-барским манерам и к наружности. Боярская шуба или кафтан 17-го века пошли бы к нему гораздо больше, чем китель защитного цвета или немецкий колет и кираса Кавалергардского полка.

Из особенностей, напоминающих старину, помню необычайное число образков и крестов, которые Безобразов носил на груди, под рубашкой, на золотой цепочке. Это было собрание величиною с кулак. Оно было видно, когда Владимир Михайлович расстегивал китель и ворот рубашки, сидя в своем блиндаже в жару. И именно в жару этот металлический клубок на голой груди должен был давать себя чувствовать.

Безобразов был хорошего здоровья и вынослив в свои тогдашние 59 лет, но начал сдавать на ноги и предпочитал сидеть, если это было можно. Поэтому, в случаях, когда генерал посещал полки, он никогда не спешил без особой нужды и оставался верхом, разговаривая с людьми или с офицерами.

Безобразов связал духовно существование свое и гвардии настолько, что, уйдя в эмиграцию, не переставал в своих мечтах о возвращении старого порядка в России видеть в первую голову Императорскую гвардию под своей командой. Он даже совершил поездку по Европе, составляя из эмигрантов список скрытых кадров Гвардейского корпуса, преимущественно из тех, кого лично знал. Не знаю, кого он взял к себе начальником штаба, но адъютантом предназначался полковник, который занимал эту должность в 1916 году и которому в 20-х годах перевалило за 45.

Это наивно романтическое мечтание все же симпатично и характерно для Безобразова, в воображении которого, очевидно, командование русской гвардией являлось полным завершением его земных желаний.

Владимир Михайлович был похоронен в Ницце со всеми возможными воинскими почестями от французов как кавалер Большого креста Почетного легиона. Как командира Гвардейского русского корпуса его проводили в могилу многие бывшие подчиненные и поклонники, проживавшие на юге Франции, а у его гроба стояло дежурство из когда-то молодых, а теперь седых и лысых гвардейских офицеров, одетых в неважное штатское платье.

Я довольно много уже сказал выше об Игнатьеве. Хочу прибавить здесь лишь несколько слов. Как и в Безобразове, в нем ничего не было иностранного, что так часто встречалось в России на верхах общества, армии, чиновничества и особенно Двора. Николай Николаевич был сыном Николая Павловича, яркого славянофила и знаменитого офицера-дипломата, ярко блеснувшего в этой роли еще в 1860 году, когда 28-летний генерал-майор Игнатьев в Китае добыл для России левый берег рек Амура и Уссури, а затем стяжал себе славу Сан-Стефанским договором с Турцией в 1878 году. Игнатьевы нашего поколения оставались верными русской традиции. В семьях, его собственной и его брата (Киевского губернатора в конце 1900-х годов, потом министра народного просвещения), боролись с принятой в русском высшем обществе манерой щеголять французскою и другою иностранною речью. Это, конечно, не мешало изучению языков и сам Николай Никола-

евич хорошо их знал, но не приправлял разговор без надобности и в изобилии французскими пассажами.

Он много читал и постоянно себя образовывал; хорошо знал историю. Был религиозным, опять таки по-русски, — с иконами, с нерассуждающей верой, с глубоким духовным философским мышлением. У Игнатьева бывали минуты, когда он вдруг становился «не от мира сего». Он даже определенно говорил мне, что мечтает... о монашестве! Совершенно несомненно, что его честолюбие оставалось в зачаточном состоянии и его немалые служебные достижения — Государева Свита, командование первым, старейшим полком, Георгиевские крест и оружие, штаб «войск гвардии», впоследствии, уже после революции, командование 1-ой гвардейской пехотной дивизией, — все это скользило по нему, совершенно не затрагивая его духовной сущности.

В последний раз я видел его в эмиграции, в Англии, в 1920 году на работе в саду своего брата, который арендовал тогда ферму близ Гастингса, переименованную им, к ужасу английских почтальонов и лавочников, в «Круподерку», — как называлось киевское имение графов Игнатьевых.

Николай Николаевич, в русской рубахе, мастерил курятник, во все горло распевая народные русские песни. Если бы не эти песни, я легко мог представить себе Игнатьева за этой работой в монашеском подряснике — и вполне счастливым. Он не мечтал о скрытых кадрах штаба «войск гвардии» или 1-ой гвардейской дивизии!

Довольно скоро судьба улыбнулась ему и послала место по душе: болгары, в память его отца, предоставили ему должность библиотекаря в военном министерстве.

Приходилось слышать, что русские люди, встречаясь с ним в Софии, поражались его отвлеченности и бесстрастному отношению к тому, как «русский народ сам устроил свою судьбу».

Как я уже коротко сказал выше, порядки, завещанные мне Доманевским в генерал-квартирмейстерской части, меня не удовлетворили и беспокоили. Было очевидно, что всю работу он стремился сделать сам и по-

тому его ближайшие помощники превратились в слепых и даже несколько запуганных исполнителей. В условиях этой единоличной системы не имело особенного значения, — насколько эти помощники сами по себе были подготовлены и на месте.

Первое, что мне бросилось в глаза, — это именно их несоответствие порученным им отделениям. Конногвардеец Б. имел самые наивные представления об организации армейской разведки и о составлении сводок. Первые же его доклады показали, что он с делом не знаком и не может сам служить тем живым и надежным справочником, всегда наготове, которым должен быть хороший начальник разведывательного отделения.

Во главе оперативного отделения стоял подполковник Л., — Генерального штаба, из финляндских уроженцев, едва не получивший от моего предшественника напутствие «выказывать больше выдержки». Как раз в выдержке этому честному, усердному и военное образованием офицеру никак нельзя было отказать — недаром в нем текла скандинавская кровь. Но по той же причине это был сравнительно тяжкодум и медлитель, не подходивший к темпу оперативной работы.

Больше на своем месте казался начальник службы связи, подвижной и толковый капитан Генерального штаба Т., но, в общем, лица были приставлены, точно нарочно, к делу, в котором они могли принести наименьшую пользу. На всей организации генерал-квартирмейстерского отдела лежал очевидный отпечаток любительства. Несомненно также, что велик был процент гвардейских офицеров, самоуверенно устроившихся на серьезных штабных должностях с мыслью, что «не боги горшки обжигают».

Правда, у новорожденного штаба «войск гвардии» и ее квартирмейстерской части еще не было боевого испытания — нахождение в стратегическом резерве слишком походило на красносельское времяпровождение, — но это не могло служить оправданием слабой налаженности штабной работы. Все нужные ее элементы должны были состоять в полной готовности и исправности, как хорошо собранная, смазанная и проверяемая машина.

Мне пришлось начать с перемещения Л. на более

подходившую ему должность начальника разведывательного отделения и с удаления Б. в распоряжение Безобразова. Начальника оперативного отделения приходилось просить со стороны, из числа офицеров, которые имели уже в этом деле опыт. В этом отношении мне очень повезло: предложили начальника оперативного отделения 1-ой армии, составившего себе отличную репутацию. Это был подполковник Николай Владимирович Соллогуб, который со своей стороны стремился перевестись в войска гвардии, — сам бывший гвардеец (начал службу лейб-гвардии во 2-м Царскосельском стрелковом полку).

Прибыл этот офицер как раз во время боев гвардии на р. Стоходе и сразу показал себя способным сделаться настоящей правой рукой генерал-квартирмейстера, что естественно требуется от начальника оперативного отделения. Это был умный, знающий, тактичный, уравновешенный человек и превосходный организатор. Ловкими своими руками он быстро слепил из имевшегося материала основное отделение штаба, постепенно завоевывавшее себе авторитет и всеобщий почет. Вместе с тем он объединил вокруг себя подчиненную ему молодежь Генерального штаба, сделав для них работу приятной и интересной. Благодаря Соллогубу спокойная и уверенная атмосфера водворилась сначала в круге его непосредственного влияния, а затем ею заразились и соседи.

С этим выдающимся офицером мне суждено было работать, с маленьким перерывом, вплоть до фактического окончания войны, то есть до осени 1917 г. Я привлек его на должность генерал-квартирмейстера в штабе 11-й армии, когда я был ее начальником штаба, и вместе с ним мы потом «сели на скамью подсудимых» при разборе так называемого Корниловского заговора в первых числах сентября, в Бердичеве. И вместе с ним, оправданные, при немом содействии судейского генерала, уехали в Петербург, отряся прах от революционной пыли, окутавшей густым облаком фронт, войска и штабы.

Подчинен мне был по должности генерал-квартирмейстера авиационный дивизион гвардии. Состоял он из старомодных Ньюпортов и т. п., летать на которых, по мнению захваченных нами австрийских и герман-

ских летчиков, означало самоубийство. Машины действительно имели ненадежный вид. Они постоянно портились; вечно чинились и латались. Дивизионом командовал кавалергардский ротмистр Н. С. Воеводский*), а в числе летчиков-«самоубийц» находился мой старый знакомый по лейб-гвардии Егерскому полку — Н. Н. Моисеенко — Великий**). Оба — пажи.

Помощь нашей авиации вообще, а гвардейской в частности, была ничтожной. Мы слишком заметно уступали противнику в этой области и состязались с ним вяло, по мере наших нищенских сил и возможностей.

Воздушная разведка, фотографирование и бомбардировки требовали разделения задач и большого числа аппаратов. Протягивая ножки по одежке, авиация наша работала, постоянно прихрамывая, спорадически и универсально.

Это была не военная авиация, а игрушка.

1 июля штаб гвардии двинулся из Молодечно по железной дороге на Юго-Западный фронт. Войска направлялись на Луцкий его участок, а Безобразов, Игнатьев и я проехали в Бердичев на свиданье с Главнокомандующим, генерал-адъютантом Брусиловым.

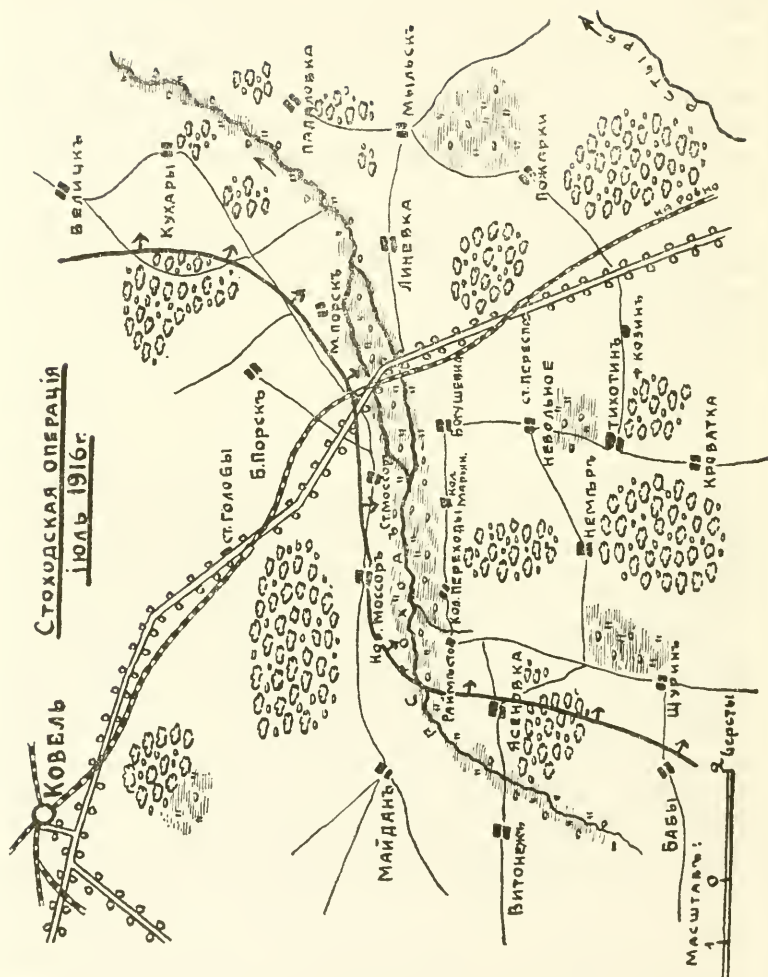
Свидание это произошло 4 июля. Начальником штаба у Брусилова был генерал Клембовский (бывший Измайловец), а генерал-квартирмейстером у него мой киевский сослуживец Н. Н. Духонин.

Совещание оказалось коротким, так как роль гвардии была предрешена. Ее сосредоточивали к западу от Луцка с целью развития успехов, достигнутых в этом районе 8-ой армией. Предполагали прорвать свежей ударной массой фронт противника на путях к Ковелю и овладеть этим пунктом, в то время как 8-я армия бу-

*) В эмиграции, в Лондоне, успешно занялся делом большого магазина антикварной мебели.

**) После революции устроился летчиком во французскую авиацию, а затем пошел по актерской части, кончив перед войной 1939 г. в роли конферансье и почти директора известной балиевской труппы «Летучая Мышь».

СТОХИДСКАЯ ОПЕРАЦІЯ ІЮЛЬ 1916г.



дет содействовать, наступая левее, на Владимир-Волынский.

Сообщив нам это решение, Клембовский и Духонин провели нас в оперативное отделение, где на большой стенной карте показали, на каких участках фронта гвардия должна была сменить понесшие потери и усталые войска. Это участок упирался почти на всем протяжении в р. Стоход с ее широкой болотистой долиной. На сухом месте, на правом фланге, к северу от реки, был расположен 3-й армейский корпус, который на время операции подчинялся Безобразову.

В заболоченных окопах по р. Стоходу стояли части 39-го корпуса Стельницкого, которые нам предстояло сменить.

С грустью и недоумением взглянули мы на поле нашей будущей атаки. Сначала открытая и плоская, как ладонь, полоса Суходольских болот, необходимость форсировать реку, а затем лесисто-болотистые дефиле, которые тянулись до самого Ковеля и которые можно было защищать малыми силами с достаточным числом пулеметов и орудий против превосходных сил.

Сомнениям нашим не дано было развиваться и вылиться в спор, так как вслед за общими указаниями последовало со стороны Брусилова и его оперативного штаба прямое указание, — что делать. Как бы решая задачу за Безобразова, Клембовский с Духониным указали нам и участок, на котором должен был быть произведен удар.

Это был как раз болотистый фронт левого фланга, где нам предстояло сменить 39-й корпус.

В распоряжение Безобразова давалось еще два корпуса (1-й армейский и 30-й), кроме двух своих Гвардейских и Гвардейского кавалерийского корпуса. Таким образом, получалась настоящая армия.

Почему штаб Юго-Западного фронта так точно и узко обозначил нашу задачу, выяснилось впоследствии. Директивой Ставки было указано «атаковать Ковель с юга».

Идти на Ковель с юга, не замочив ног и не попав в лесистые теснины, было нельзя.

Старый гвардеец, Безобразов поступил в этом вопросе по-строєвому и, как бы приложив руку к козырьку, сказал: «Слушаю-с!».

Будь на месте Безобразова другой, скажем, Василий Гурко, он не покорился бы так легко решению задачи за него и настоял бы затем на изменении ее редакции в окончательной директиве.

Единственное, что мы выговорили у Брусилова, — это отсрочку, чтобы успеть познакомиться с местностью, произвести разведку противника и основательно расположить артиллерию. Штаб фронта торопил и хотел, чтобы мы атаковали через пять дней!

Одновременно должен был перейти в наступление весь Юго-Западный фронт. Левым нашим соседом являлась 8-я армия Каледина *), правым — 3-я генерала Леша.

Кипучая наша штабная работа началась немедленно после получения этих указаний, данных, к сожалению, на словах. Впоследствии нас обвинили наверху в неудачном выборе участка для удара. Хорошо еще, что сохранилась на бумаге эта фраза позднейшей директивы Ставки «атаковать Ковель с юга».

Штаб «войск гвардии» перешел 5 июля в м. Олыка, где расположился в обширном и мрачном замке какого-то польского магната. В этом замке были все средневековые атрибуты: башни, бастионы, рвы и даже в одном из них, — медведи на цепях.

В ближайших окрестностях можно было видеть бывшие австрийские позиции, взятые нами во время первого майского удара.

Простояли мы в Олыке три дня, а 9-го перешли в м. Рожище, в небольшом расстоянии к северу от г. Луцка; этот последний Безобразов миновал намеренно, чтобы не стоять в одном месте со штабом 8-ой армии, там расположенным.

Все эти дни до атаки, назначенной теперь на 15 июля, прошли в непрерывной подготовке к ней, — в сосредоточении войск, их предбоевой группировке, разведках, особенно для артиллерийского огня.

Времени все же было мало, так как превосходная летняя погода вдруг сменилась проливными дождями и

*) Выдвинулся в начале войны как начальник 12-й кавалерийской дивизии. Потом командир 12-го корпуса. В 1918 г., в период гражданской войны, — выборный атаман Войска Донского. Застрелился, когда это войско развалилось и большевики начали овладевать Донской областью.

сделала трудными условия наблюдения. Оно могло быть только наземным, так как весь наш авиационный дивизион к этому времени числился инвалидом, а старшие штабы не дали других средств, — вероятно и не могли. Новые самолеты прибыли к нам и были собраны лишь к 27 июля, то есть явились горчицей после ужина.

Погода снова исправилась дня за два до атаки, но все многочисленные болота долины р. Стохода за время дождей сильно разбухли и не успели подсохнуть к 15-му числу. Это увеличило вязкость и труднопроходимость полосы, которую предстояло пересечь войскам, чтобы дойти до самой реки.

Наше исходное для атаки положение имело вид ломаной линии, исходящий угол которой оседлывал шоссе Ковель-Луцк и упирался в р. Стоход. Южнее, линия, по которой гвардия сменила части 39-го корпуса, упиралась в треугольник болот восточного берега течения Стохода. Правее шоссе образовывался входящий угол, частью шедший по самому берегу Стохода (здесь стоял на позиции еще до нашего появления 1-й армейский корпус), частью пересекавший излучину реки (позиция 30-го армейского корпуса).

Как уже было сказано выше, на участке главного удара, отведенном для гвардии, — для атаки Ковеля «с юга» — предстояло сначала переправиться через Стоход, правда, проходимый вброд, но текший по широкой, мокрой долине, а затем втянуться в узкие проходы между болотами и лесами по направлению к Озеряне.

На правом фланге гвардейского фронта мы поставили 1-й Гвардейский корпус; на левом — 2-й, добившись от штаба фронта предоставления нам здесь лишних 4 верст по фронту, чтобы получить «кусочек» более сухого места.

Оба корпуса, в особенности 2-ой, были эшелонированы в глубину с расчетом образования достаточных резервов для поддержки и развития удара. Так как, несмотря на очень сильный состав полков (свыше 3.000 чел. каждый), каждый батальон при довольно растянутом фронте был на счету, я поднял вопрос о постановке на пассивном (по крайней мере, в начальный период атаки) участке Стохода, в исходящем угле наше-

го расположения, спешенной кавалерии. Ее было у нас более чем достаточно. Игнатьев поддержал меня, но Безобразов, живший идеей Доманевского об употреблении гвардейской конницы не иначе как в составе цельного корпуса, решительно этому воспротивился.

Пришлось лишиться двух семеновских батальонов и посадить их «наготове» в лесах на левом фланге 2-го Гвардейского корпуса.

1 армейский корпус и 30-й получили задачи наступать правее Ковельского шоссе, стремясь выдвинуться за Кухарский лес и выйти на это шоссе с востока, в связи с действиями гвардии. Местность на этом участке фронта — сухая и доступная — более благоприятствовала наступлению с прорывом, чем пришедшаяся на долю гвардии. Но армейские корпуса, не успевшие пополнить свои потери, стояли в меньшем численном составе.

Правее войск гвардии должна была наступать 3-я армия Леша (с которым Безобразов поссорился при отходе Гвардейского корпуса от Холма примерно год тому назад, и сложил свое командование). Левее — 8-я армия Каледина.

День 15 июля — именины нашего «Воеводы» — выдался, как говорится, «на заказ». Была прекрасная, пожалуй слишком жаркая погода. Условия наблюдения оказались хорошими, и наша артиллерия справилась с задачей разрушения неприятельских пулеметных гнезд, проволочных заграждений и окопов. На артиллерийскую подготовку атаки было дано 7 часов.

Ровно в 1 час дня люди штурмующих полков вышли из окопов и дружно двинулись в атаку.

Вскоре стали поступать сведения, пестревшие именами полков, взявших те или другие участки неприятельских окопов. «Овладели третьей линией», «ворвались во вторую линию», «остановились перед неразрушенной проволокой», «артиллерия пробивает дополнительные проходы»...

В общем было ясно, что от первого толчка противник не устоял и что наши гвардейцы не даром имели долгий отдых; они справились и с неприятным болотом и с австрийцами, поддержанными более упорными германцами.

Лейб-Егеря имели красивое дело у колонии Пере-

ходы, хорошо укрепленной деревушки близ правого фланга гвардейской атаки.

В таком же духе обозначился результат дневного боя на фронте армейских корпусов. Они также продвинулись за линию неприятельских окопов, заходя при этом своим правым плечом.

К вечеру наша ближайшая задача — прорвать основную позицию противника — была выполнена. Оставалось на другой день довершить этот успех и развить его.

Днем в Рожище понаехало с тыла много всякого лишнего люда, движимого желанием до некоторой степени приобщиться к ожидавшимся « блестящим » победам войск гвардии.

Тут были корреспонденты, разные краснокрестные, думские и земские деятели : частью знакомые, частью новые лица.

На самой середине большого внутреннего двора усадьбы, в которой был расположен наш штаб, сидел Великий Князь Борис Владимирович на одиноком венском стуле, вынесенном специально для него из соседнего помещения. Сидел он на полном солнцепеке и имел мрачно-скупающий вид *). Но один из сопровождавших его офицеров не терял времени, ибо поместил затем в газете « Новое Время » описание дня 15 июля, каким он был в штабе гвардии, и притом напечатал кое-какие детали, которые относились к нашим планам и должны были составлять военный секрет.

После 5 час. дня эскадрилья немецких самолетов совершила первый налет на Рожище, как бы мстя нам за удавшийся удар. Бомбы причинили много вреда, хотя самолетов было всего шесть, а бомб 30; но у нас ничего в смысле убежищ еще не было сделано — или очень мало. Были хорошо спрятаны и прикрыты только наш телеграф и телефоны, но и то, кажется, потопились с этим после первого налета.

В числе жертв был мой товарищ по Пажескому корпусу Юрий Михайлович Хитрово, в мирное время служивший, в придворном звании, по Министерству

*) Незадолго перед тем Великий Князь Борис Владимирович был назначен Атаманом всех казачьих войск. Собственно к операции он не имел никакого отношения.

Двора и ставший во главе гвардейского краснокрестного передового отряда за несколько дней до нашего большого боя. Это был симпатичный, способный и образованный человек с большим юмором, недурной поэт, по натуре глубоко штатский; он очень скоро после окончания корпуса покинул военную службу. Судьба же приготовила ему чисто боевую смерть.

Лично для меня 15 июля ознаменовалось получением из Ставки телеграммы о состоявшемся назначении меня генерал-квартирмейстером штаба войск гвардии *).

За неделю перед этим состоялось мое столь долгожданное производство (Высочайший приказ от 7 июля). Я оказался задним числом «старым» генералом, ибо мне дали старшинство в 10 месяцев (с 30 авг. 1915 г.), и в этом смысле я с избытком наверстал время и даже обогнал многих.

Вспоминаю, что в день получения телеграммы об этом из Ставки от Кондзеровского (дежурного генерала, старого Егеря) у нас в Рожище было совещание корпусных командиров о предстоящей атаке.

Я участвовал в нем вначале в чине полковника, а после перерыва вернулся в генеральских погонах, о которых позаботился милый Игнатьев.

Начальник штаба 1-го армейского корпуса генерал-майор Ф. Ф. Новицкий заметил по этому поводу :

— Вот выгодно служить в гвардии : полчаса тому назад был полковник, пошел закусить и вернулся генералом!...

16 июля войска армии Безобразова продолжали бой, продвинувшись дальше на некоторых участках, но, к сожалению, продвижение это было «до отказа». Крупнее успех выпал в этот день на армейские корпуса. Впоследствии сделалось известным, что они сильно расстроили находившуюся против них 41-ю гонведную дивизию и совершенно уничтожили 31-й гонведный полк.

*) Подлинный текст телеграммы генерал-квартирмейстера Ставки Пустовойтенко : « 14 июля последовало Высочайшее соизволение на назначение командира лейб-гвардии Измайловского полка генерал-майора Геруа генерал-квартирмейстером штаба войск гвардии с переводом в Генеральный штаб и с зачислением в списки командуемого им полка ».

Гвардия имела накануне дело с 29-й австрийской дивизией и частями 19-й и 121-й германских дивизий.

За два дня боя были взяты трофеи: до 10.000 пленных, примерно поровну распределившихся между гвардией и нашим правым крылом, из них германцев — до 1.000 чел. нижних чинов и 19 офицеров. Австрийских офицеров взяли до 150. Среди разной добычи было много пулеметов, но самым существенным трофеем являлись 46 орудий, из них 17 большого калибра. Это показывало глубину проникновения в позиционный район неприятеля.

Но в тылу у него были заранее заготовлены укрепленные опорные пункты и позиции, которые он успел занять подошедшими резервами. Выгода внезапности удара исчезала. У нас все было введено в дело и для пробития этих новых «пробок» в глубине расположения противника не хватало собственных резервов. Штаб фронта, со своей стороны, не собирался нас поддерживать и помогать развить достигнутый успех.

В ограниченности его на участке гвардии, кроме трудной местности, играло роль полное отсутствие у нас тяжелых калибров артиллерии. Нечем было скоро и решительно разрушить, например, солидно укрепленную позицию у д. Витонеж, на левом берегу Стохода, или предмостное укрепление у Ловищенского дефиле. Мы докатились до этих «пробок» и остановились. Против Витонежа предпринимали позже новые атаки, но мы смогли лишь утвердиться на неприятельском берегу Стохода на ближайшей к селению высоте 90.

Тактический результат этих боев получился бледный: мы лишь выпрямили прежнюю ломаную линию, сделав захождение флангами по обе стороны вершины исходящего угла — пассивного участка на Стоходе, у шоссе.

Стратегически, достигнутое продвижение, разумеется, никак не выразилось на карте 10-верстного или 25-верстного масштаба.

Оставалось утешаться некоторыми трофеями. Но и тут гвардию и Безобразова постигла неудача, как увидим ниже.

21 июля Безобразов, взяв меня, выехал в Луцк на совещание с Брусиловым. В этом совете, носившем вна-

чале характер разноса, принимал участие и командующий 8-ой армией Каледин. Из трех стратегических «тузов» блистал быстротою суждений и схватки молодой, сухой Брусилов. Остальные два были тяжеловаты, но в Каледине все же чувствовались и уверенность и опыт. Увы, Безобразову не хватало и этих качеств. Бедняга путался в цифрах и даже фактах и, начиная свои соображения фразой «ну вот это», не умел выпукло выразить свою мысль и убедить начальство. Быть может вследствие этого нам и было отказано в дополнительном корпусе для повторения удара — на этот раз на сухом, правом участке нашего фронта. Повторить разрешили, но приказали рассчитывать только на свои собственные силы и средства.

Нам, таким образом, ничего не оставалось как сделать крупную перегруппировку и собрать на правом фланге не менее трех корпусов. С этой целью 1-й Гвардейский корпус был введен на участок между 1-м армейским и 30-м, которые должны были потесниться и образовать у себя резервы. На участке вдоль р. Стохода с его болотами растянули 2-ой Гвардейский корпус и, частью, посадили в окопы спешенную конницу. Помня уроки даром простоявших двух кавалерийских дивизий в дни 15 и 16 июля, Безобразов на этот раз не возражал против «святотатства».

Три корпуса на участке примерно в 8 верст кажутся довольно крепким молотом. Но у них по-прежнему была только их полевая артиллерия, не было ни одного самолета, а число штыков, сравнительно с началом боев, значительно сократилось. Мы понесли серьезные потери в предыдущих боях. Большой процент потерь легко объяснялся огневым превосходством неприятеля — в орудиях, калибрах и пулеметах; то, чего удалось достигнуть, было достигнуто доблестью и порывом пехоты, шедшей вперед невзирая на этот огонь, косивший наши цепи.

Нельзя было уменьшить потери и посредством маневра. Начать его мечтали после совершения прорыва — неизбежно лобовой операции. Но этим мечтам не суждено было сбыться, как мы знаем.

24 июля закончили все передвижения в предвидении новой атаки, а 26-го произвели самую атаку.

Она кончилась неудачей.

Нужно было овладеть Кухарским лесом (близ р. Кухары), который тянулся перед фронтом 30-го и 1-го Гвардейского корпусов и был сильно занят противником. По выходе на западную опушку этого неглубокого леса атакующий мог рассчитывать преследовать сбитого неприятеля по открытой, слегка волнистой местности и захватить Ковельское шоссе. Но для успеха этого преследования необходимо было, конечно, деятельное и точное участие артиллерии. Между тем наши артиллерийские наблюдательные пункты на протяжении почти всего фронта атаки были ослеплены Кухарским лесом, который стоял перед нами как ширма. Заглянуть за нее можно было с самолетов. Повторяю, — в нашем распоряжении тогда трагически не имелось ни единого аппарата и мы не знали, когда придут ожидавшиеся новые. Откладывать атаку в этом неопределенном ожидании Безобразов не хотел. И без того на него уже сыпались сверху и с боков упреки за малые результаты операции, достигнутые с непомерно большими потерями. Безобразов торопился держать «перезаменовку» и верно расценивал несомненно критическое отношение верхних штабов ко всякой его просьбе об отсрочке новой атаки.

Драма этого раздвоения между тактической необходимостью и личной психологией начальника предстала с особой яркостью, когда на другой день после неудавшейся атаки мы получили известие, что пришли самолеты!...

Помимо трудностей артиллерийского наблюдения в глубину неприятельского расположения, нужно было еще совладать с неумением и с нелюбовью русских войск действовать в лесах. Этот наш недостаток был хорошо известен всем и каждому в русской армии. Иностранцы же справедливо изумлялись, — почему, принимая во внимание огромные площади лесов, которыми было покрыто чуть не $\frac{2}{3}$ Европейской России, не говоря уже о Сибири. Казалось, русские должны были быть экспертами в лесной войне.

Так как ближайшей задачей нашего ударного крыла было овладение восточной окраиной Кухарского леса и прохождение через него, лесной бой являлся первым актом пехотной атаки. Штаб войск гвардии выпустил по этому случаю краткое наставление — в стра-

ничку или две — с напоминанием основных особенностей лесных действий, о характере строев, о том, как держать связь и т. п. Сделано это было скорее для очистки совести, ибо нельзя было рассчитывать на магическую силу слов, хоть бы и верных, прочитанных в полках за день или за два до боя.

Люди в бою действуют по привычкам, усвоенным во время тренировки, и если правильные приемы не были привиты постоянными упражнениями, инструкция, выпущенная в последнюю минуту, бесполезна.

Наш лесной эпизод усложнялся еще тем, что на левом фланге, где 1-й армейский корпус соприкасался с 1-м гвардейским, линия наших окопов, из которых предстояло выходить для атаки, шла под входящим тупым углом. Необходимо было такое тщательное нацеливание частей, чтобы не произошло перекрещивания, особенно естественного и губительного в лесу. Гвардейцы могли двигаться более или менее прямо перед собою, но армейским частям, чтобы избежать перекрещивания с гвардейцами, нужно было дать облические направления, что всегда выполняется с трудом.

На совещании в штабе 1-го Гвардейского корпуса, руководившего организацией атаки, я подчеркивал необходимость детальной разработки этого важного вопроса. Кое-что в диспозиции было соответственно изменено, но дальше этого не пошли, и во время боя перекрещивание в лесу случилось, вызвав понятные путаницу и смешение.

Все же бой 26 июля в своем начале развивался более чем благополучно.

После того как наша артиллерия успешно проделала проходы в неприятельских проволочных заграждениях впереди леса и подбила некоторые из пулеметных гнезд, пехота дружно вышла из окопов и с большим подъемом пошла на штурм.

Вскоре противник бросил свою позицию на восточной опушке, и мы преследовали его, ворвавшись в лес. Некоторые полки (в том числе Измайловцы) вышли на западную опушку. Тут необходим был перенос артиллерийского огня на возможную новую позицию неприятеля в тылу и на его батареи — пушечные и пулеметные. При помощи одних боковых наблюдателей

сделать это в сколько-нибудь удовлетворительной форме не удалось.

Между тем противник, ничем не связанный, открыл жесточайший огонь по восточной опушке Кухарского леса, вгоняя обратно в него нашу пехоту и не давая зацепиться на окраине. Не удалась и попытка частей, наступавших по открытому участку к югу от леса, обеспечить захват его действиями во фланг отступавшим австрийцам. Все это время неприятельская авиация была очень деятельна, и, по всей вероятности, план нашей атаки был ясен для противника как на ладони.

Мы, наоборот, смутно представляли происходившее по ту сторону леса и рвались наугад. Общее управление атакой сделалось бессильным и раздробилось, перейдя в руки мелких командиров, даже не полковых и батальонных, а ротных и взводных.

С наступлением темноты, по мере того как становилось очевидным, что удержать за собой лес не удастся, части отошли в исходное положение и обе стороны вернулись в прежние берега.

Мы снова понесли чувствительные потери. Измайловцы лишились одного из лучших своих офицеров и ротных командиров, Обручева. Полк возвратился на свои старые позиции без него. Подумали, что он был ранен и взят в плен. Но через некоторое время, когда стороны успокоились и осели на своих позициях, австрийцы нашли способ передать в наши окопы небольшой пакет, который заключал, во-первых, сообщение, что тело убитого штабс-капитана лейб-гвардии Измайловского полка Обручева было найдено в лесу и предано земле с воинскими почестями; во-вторых, — золотые часы и орден св. Владимира, снятые с покойника.

Обручев был внучатый племянник маститого Измайловца Н. Н. Обручева — авторитетного начальника Главного Штаба в царствование Александра III *).

Итак, Безобразов со своим штабом не выдержал переэкзаменовки, к явному удовольствию недоброжелателей, о которых говорил мне «Воевода».

*) В эмиграции мне удалось случайно купить экземпляр истории лейб-гвардии Измайловского полка, изд. 1883 г., принадлежавший Н. Н. Обручеву.

Во главе этих врагов он ставил М. В. Алексеева — фактического Главнокомандующего при Государе, не пытавшемся вмешиваться в стратегические планы своего начальника штаба и предоставлявшем ему в этой области полную свободу. Но образование отдельного Гвардейского Отряда на правах частной армии было всецело обязано Государю, на которого сумел повлиять Безобразов; он доказывал с основанием, что вплоть до осени 1915 года гвардию истощали и обезличивали, постепенно лишая ее той « отборности », которая оправдывала ее существование, и вместе с тем отдаляя от естественной ее роли опоры престола.

Теперь, когда самостоятельное, в армейском масштабе, употребление войск гвардии не принесло блестящих плодов; когда заданного им Ковеля они не взяли, оставшись почти на месте, можно было доложить Царю : « Вот видите, Безобразов со своей пресловутой гвардией ничего не сумели сделать ».

Что Алексеев, сын фельдфебеля, « протрубивший » в строю армейского полка до Академии 13 лет, действительно не любил гвардию с ее преимуществами, сомневаться трудно. Это можно было заметить даже в Академии, наблюдая отношение профессора Алексеева к слушателям — гвардейцам.

Насколько, однако, данная Ставкой Безобразову задача, заранее определявшая ограниченность ее выполнения, являлась результатом недоброжелательства — остается вопросом. Но вот что безусловно : после боев 15-16 июля Ставка в своих ежедневных бюллетенях отметила их мимоходом и совершенно умолчала о существенных трофеях, взятых на фронте армии Безобразова.

Правда, в те же дни на фронте соседней 8-й армии одним из корпусов (8-м, Владимира Драгомирова) был достигнут, благодаря искусно проведенной внезапности, эффектный успех у Кошева, затмивший, до некоторой степени то, что было сделано гвардией; но это не должно было затемнять добросовестности сообщений Ставки, которая оповещала сплошь и рядом о сотне взятых пленных или паре пулеметов.

При этом нужно отметить, что ни в одной из армий Брусилова во время июльского наступления всего Юго-Западного фронта не повторились удачи майско-

го — Луцкого — прорыва; наши ближайшие соседи, 3-я и 8-я армии, тоже не достигли никакого стратегического результата и поставленных им ближайших целей; в общем, весь фронт остался на прежней линии.

Между тем удачи на флангах группы Безобразова 15-16 июля могли развязать руки этой группе и помочь свободе ее продвижения.

Условия были не те, что в мае. Противник оправился после нанесенного ему крупного поражения, был теперь настороже и, кроме того, подперт по всему фронту германскими частями.

Прождав напрасно некоторое время бюллетеня Ставки о боевой добыче войск гвардии с приданными армейскими корпусами, Безобразов решил доложить о своих боях и своих трофеях Государю непосредственно.

Принимая семь месяцев тому назад Гвардейский Отряд, Безобразов испросил у Государя разрешения обращаться прямо к нему в качестве его генерал-адъютанта по чрезвычайным вопросам, касающимся гвардии.

Он считал теперь, что такой чрезвычайный случай наступил. Мне было приказано составить черновик письма, в начале которого Безобразов ссылался на это разрешение Государя и затем излагал вкратце июльскую операцию: задание, отсутствие нужных для выполнения его средств и ход боев по дням. Заканчивалось письмо перечислением взятых орудий и пленных *).

Лично прокорректировав представленный ему текст, Безобразов послал переписанное и им подписанное личное письмо Государю со своим адъютантом — полковником Кавалергардского полка П. П. Родзянко. Это было 1 августа.

4 августа появилось сообщение Ставки: « По дополнительно полученным сведениям, войсками гвардии Безобразова за время последней операции взято в плен... » (следуют цифры).

Это было ответом Царя на письмо Безобразова.

*) Черновик письма Безобразова с его собственноручными поправками, а также копии директивы штаба фронта и одной оперативной телеграммы его, свидетельствующих об узкой задаче гвардии, сохранились у меня. Документы эти были помещены с моим пояснением в №... « Измайловской Старины ».

Фраза о дополнительных сведениях была, конечно, чисто канцелярским извинением, так как само собою разумеется, что все эти цифры имелись в Ставке в ближайшие же дни после боев и имелись полностью.

Заступившись за вверенные ему войска, Безобразов, однако, не смог отстоять себя и свой штаб. И в Могилеве и в Бердичеве им поставили плохую отметку за полководчество, что громко, и не без удовольствия, обсуждалось многими. Пересуды эти нашли отражение в воспоминаниях английского военного агента полковника А. Нокса, состоявшего при Ставке и посвятившего Стоходской операции несколько ядовитых строк.

Одновременно заболтал и Петербург, где в гостиных очнулись мамушки и тетушки; вместо славы взятия Ковеля — разочарование и впечатление от громадных потерь *). Раненые гвардейские офицеры обыкновенно эвакуировались для лечения в Петербург и его ближайшие окрестности. Незрелые тактические рассуждения этой молодежи становились основой для салонной критики и толков **).

Со времени боя 26 июля за Кухарский лес прошло около месяца. За это время состоялся полковой праздник лейб-гвардии Егерского полка, стоявшего 17 августа в дивизионном резерве. Я ездил на это скромное, чисто «полевое» торжество, начатое молебном и кончившееся симпатичным ранним обедом на чистом воздухе. Погода была прекрасная. Это был последний слу-

*) Собственно гвардия потеряла до 30.000 человек из примерно 50.000 общей цифры потерь всех четырех корпусов армии Безобразова. Принимая во внимание, что полный штатный состав пехотной дивизии, в котором гвардия вступила в бой был 12.000 штыков, можно сказать, что численность штыков сократилась на силу двух дивизий или наполовину.

**) Лучше всего эти петербургские настроения резюмированы в письме из Петербурга Великого Князя Николая Михайловича Государю от 13 августа 1916 г., напечатанном в советском издании писем Великого Князя (1925 г.).

Там говорится: «От души скорблю о потерях гвардии и об отрицательных результатах ее героических подвигов, вследствие нераспорядительности и отсутствия руководства начальствующих лиц. Почти все офицеры в один голос обвиняют генерала Безобразова, который из-за своего невероятного упрямства и воображения, что он даровитый полководец, вот уже третий раз напрасно губит без результата тысячи дорогих Тебе жизней...».

чай, когда я приятно провел время среди старых товарищей — Лейб-Егерей. Пили здоровье полков и друг друга. Звонко раздавались звуки медных труб полкового оркестра, то исполнявших свою музыкальную программу, то игравших « туши » под тот или другой тост, и бодрое « ура ». В мою честь музыка играла одно колено Егерского и одно колено Измайловского марша...

30 июля правофланговая армия Безобразова была передана недель на шесть из Юго-Западного фронта в соседний, Западный.

Операция на всем Юго-Западном фронте после июльской неудачи замерла. Вернее — притаилась, так как высшее командование все же надеялось возобновить наступление. Считалось, что войска отдохнут, подтянутся и будут в состоянии нанести противнику еще один удар, в духе майского. От мысли организовать этот удар на участках армий Безобразова и Каледина отказались, то есть по-прежнему предметами действий являлись Ковель и Владимир-Волынский.

Но руководство операцией предполагалось объединить в руках свежего и надежного генерала « со стороны », расставшись при этом с Безобразовым, штабом войск гвардии и самостоятельностью последних.

В последние дни августа мы узнали, что Безобразов отзывается в Ставку, что его армия расформировывается и что вместо нее образуется новая, которой присвоили необычное название « Особой ». Было ли это имя придумано потому, что армия являлась как бы преемницей Гвардейского Отряда или чтобы избежать номера 13 — неизвестно *).

Не успела прийти телеграмма об этой перемене, как приехал на ст. Рожище командующий Особой Армией и объявил, что немедленно примет чинов « бывшего штаба войск гвардии ». Это был генерал Василий Иосифович Гурко.

Случилось все это чрезвычайно быстро и, хотя в воздухе уже давно чувствовалась собравшаяся гроза, произвело впечатление неожиданности.

*) Армия под № 13 существовала короткое время, год перед тем, во время нашего общего отхода из Галиции. Она была образована в начале июля 1915 г. и расформирована через месяц. Командовал ею генерал Горбатовский.

Насколько помнится, было 22 августа. Серенький денек ранней осени. Порывы ветра поднимали пыль с немощеных улиц Рожище; приходилось защищать от нее глаза.

Чины штаба построились в шеренгу на дворе усадьбы, где помещались Безобразов и генерал-квартирмейстерская часть.

С нами не было ни Безобразова, ни Игнатьева. Оба отбыли на станцию Рожище, где для них был приготовлен вагон; в тот же вечер они должны были отправиться в Могилев.

Новое начальство не заставило нас долго ждать. Быстрыми шагами к правому флангу нашей шеренги подошел маленький, худощавый генерал в кителе с золотыми «кавалерийскими» погонами и с серьезным лицом, на котором выдавались длинные черные усы. Это был Гурко. Указанием на его бывшую службу являлись два нагрудных знака, Академии Генерального штаба и лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, и два Георгиевских креста.

За Гурко шел незнакомый мне генерал-лейтенант Генерального штаба в несколько странной коричневой куртке. Скорее полный; выпуклые, точно вытаращенные бледно-серые глаза; небольшие усы, навощенные на концах бриллиантином. Мы сразу поняли, что это начальник штаба, а потом узнали его имя — Михаил Павлович Алексеев, однофамилец начальника штаба Верховного Главнокомандующего.

Представление закончилось в несколько минут. Мы разошлись в ожидании своей участи.

Ожидание это напомнило живую картину: как в корпусе и потом в Академии, сбившись в кучки, ждали после экзамена выхода классного наставника с листом отметок; баллы громко оглашались, и мы узнавали, кто и как выдержал экзамен.

Я успел сходить на станцию к отходу поезда Безобразова и попрощаться с ним и с Игнатьевым. Провожавших было немного. Протянув мне руку в последний раз из вагонного окна, Безобразов тепло поблагодарил меня за работу, назвав при этом «просвещенным генерал-квартирмейстером».

Поезд увез обоих, с тем чтобы мне уже не встре-



Генерал от кавалерии Василий Иссифович Гурко.
С портрета, исполненного Б. В. Геруа в 1921 г.

тить их в следующий раз раньше эпохи эмиграции, через четыре года.

Очень скоро всем стало ясно, что штабом войск гвардии не собираются воспользоваться как кадром или скелетом для формирования нового штаба. На все главные места были вызваны помощники М. П. Алексеева, с которыми он работал в Двинске, откуда Гурко командовал 5-й армией.

Среди всеобщего разгрома штаба войск гвардии уцелели только генерал-квартирмейстер и оперативное отделение его отдела. В последнем, очевидно, опытный штабной глаз Алексеева усмотрел с первого же знакомства деловитость и налаженность. Отделение это и затем не испытало никаких перемен и оставалось в своем личном составе времени штаба войск гвардии.

Что касается до меня, то Алексеев подверг меня, в первую очередь, доброжелательному допросу, в котором коснулся и прошлой операции и того, каково было личное влияние на нее Безобразова и Игнатьева. Я откровенно согласился с Алексеевым, что штабная работа у нас носила любительский характер, — по причинам, приведенным мною выше; но вместе с тем я решительно заступился за Безобразова, указывая, что возводимые на него вины за Стоходские бои несправедливы; что главная его вина состояла в покорности условиям, в которые поставили его и вверенную ему армию.

Мне приходило впоследствии в голову, что это мое мнение о «павшем» начальнике сыграло известную роль в дальнейшем дружеском ко мне отношении как Алексеева, так и Гурко.

Как бы то ни было, я остался, и мне предстояло пройти полезную и интересную школу по моей должности под руководством этих двух генералов. Сотрудничество между ними на войне было долгое, — Алексеев раньше исполнял должность начальника штаба 6-го корпуса, которым командовал Гурко в 1915 году, и они сжились. Это накладывало, по индукции, особый отпечаток единства и на все отделы штаба в их подчинении. И оба генерала были несомненно выдающимися организаторами и администраторами.

Ввоз двинских специалистов оправдал себя очень скоро. Штаб Особой армии прочно стал на ноги и, как

мне кажется, сделался едва ли не самым образцовым в русской армии.

Благодетельными оказались и двинские прививки, сделанные отделу генерал-квартирмейстера. Для должной постановки разведывательного отделения был вызван подполковник Рузский, набивший себе руку на этом деле. В частности, он принес с собой тонкости фотографической техники воздушной разведки и изучения ее результатов в «мастерской» разведывательного отделения. Область эта была новостью и налажена она была далеко не во всех штабах даже к концу войны, как мне пришлось лично убедиться впоследствии.

Разведывательное отделение раздвинулось так, что из квартиранта одной жалкой комнаты в Рожище превратилось потом в Луцке в хозяина двухэтажного особняка.

Приданы были армии и отряды самолетов, с которых можно было делать снимки неприятельских позиций. В масштабе французского фронта число наших самолетов казалось ничтожным, но все же это было лучше, чем прежнее «ничего».

Появилось «контрразведывательное» отделение, не имевшее своей особой жизни в штабе войск гвардии и лишь теоретически числившееся при разведывательном отделении. Во главе контрразведки был поставлен бывший жандармский офицер, которому это неприятное и даже противное дело было хорошо знакомо и в котором он находил некоторую прелесть. Замечательно, как люди, гоняющиеся за шпионами, сами перенимают их приемы и манеры и потом никогда не могут от этих привычек отделаться. Мой ротмистр-контрразведчик, приходя с докладом, всегда как-то особенно таинственно стучал в дверь моего кабинета, бесшумно ступал, точно на цыпочках, и оглядывался — нет ли где спрятанных посторонних ушей. Докладывал он вполголоса, что невольно заставляло и меня понижать свой голос, обычно — чрезмерно громкий. Мы походили на двух конспираторов. По окончании доклада «контрразведчик» уходил таким же тихим порядком и старался закрыть дверь так, чтобы она не стукнула.

Служба связи разрослась под энергичным руководством очень большого, толстого, очень добродушного и очень добросовестного офицера Генерального шта-

ба Гюленбегеля — финляндского шведа. В январе 1919 года, когда я перешел из Советской России в Финляндию, этот милый человек, уже состоявший тогда в финской армии, немедленно появился со своими услугами, — и я сильно в них нуждался.

Заведовать цензурным отделением вместо гродненского гусара приехал подполковник Генерального штаба Замбржицкий. При своей явно польской фамилии он не имел ни одной польской черты в наружности и характере. Это был человек маленького роста, с темной растительностью на лице, замкнутый, необщительный, смотревший почти исподлобья. Но мне приходилось иметь мало дела с этим сумрачным офицером, так как цензурное отделение доставляло наименьшее количество хлопот, а выписан он был из Двинска специально для Гурко. Дело в том, что Гурко, чутко отзывавшийся на потребности жизни, решил, по своей инициативе, прийти на помощь войскам в вопросе ведения позиционной войны и создать полевой устав, регулирующий этот новый вид войны. Для исполнения этой кропотливой работы Гурко привлек Замбржицкого, лично направляя и редактируя новорожденный устав. В штабе Особой армии заканчивалось то, что было начато в штабе 5-й.

Замбржицкий считал себя, не без основания, принадлежащим в штабе, прежде всего, лично Гурко. К сожалению, устав вышел из печати только к 1917 году и потому не успел принести той пользы, которая имела в виду и которую он действительно мог принести.

Организация работы в штабе получила стройный характер, расписанный по часам, притом без напряжения и суеты. Колеса завертелись как в машине, где все части точно пригнаны и где нет места трениям и сбоям.

Два раза в день Гурко и Алексеев принимали в оперативном отделении доклад по всем данным обстановки на фронте вообще и нашей армии, в частности. Производилось это перед ранним обедом, который подавался в общей столовой в 1 ч. дня, и перед ужином, начинавшимся в 8 ч. вечера.

Делал доклад по висячей большой карте Н. В. Соллогуб своим спокойным, уверенным тоном.

Не менее двух раз в день в спокойное время — и

много раз в боевое — я ходил с докладом к М. П. Алексееву.

Он очень быстро приручил меня и заставил себя уважать. Помню, в один из первых докладов еще в Рожище, «на развалинах штаба войск гвардии», в атмосфере всеобщего смущения, он подметил, что и молодой генерал-квартирмейстер чувствует себя не совсем уверенно. Алексеев спросил мое мнение по какому-то деликатному вопросу; я замялся; тогда Алексеев сказал:

— Говорите смело: ведь вы же генерал!...

Этой одной фразой был «сломан лед», и между нами на все дальнейшее время сотрудничества установились прямые и доброжелательные отношения.

Михаил Павлович несомненно был и умница и добряк, в котором через оболочку служебной требовательности и точности всегда просвечивали живые человеческие черты. Присущ ему был и спасительный юмор.

Что касается до штабной работы, то в этой области он являлся мастером — любил и понимал ее. В отличие от своего однофамильца М. В. Алексеева, предпочитавшего все главное выполнять самому, Михаил Павлович умело распределял, руководил, тактично влиял вверх — к начальству и вниз — к подчиненным. В штабном деле он мог служить образцом и был для многих из нас учителем.

Как офицер Генерального штаба он не проявлял ни самомнения, ни заносчивости, нередко встречаемых в этой среде с патентом «мозга армии». Ум Михаила Павловича был практический, характер твердый и простой, отношение к людям внимательное.

При всех этих условиях работа под его непосредственным начальством шла легко и продуктивно. Я сохраняю самое доброе воспоминание о шести месяцах нашей совместной службы в штабе Особой армии.

Потом мы разлучились и встретились мельком — и в последний раз — в Петербурге, после большевистского переворота. Снимал он с женой маленькую квартиру где-то в районе Мариинского театра. Мы провели вечер в рассуждениях о революции вообще и о русской, в частности. В руках Михаила Павловича был найденный им у букиниста французский томик о разложении армии Конде в революционные годы. Это было то самое, что творилось в России в 1917 году!

Мне неизвестно, как, в конце концов, Алексеевы применились к тяжелой обстановке нового пролетарского режима. Их не оказалось в эмиграции.

Когда я записываю эти штрихи давно ушедшей жизни, мое воображение переносит меня в Рожище и в Луцк, где стоял штаб Особой армии, и перед моими глазами находятся две иллюстрации: моя акварель, изображающая спальню генерал-квартирмейстера в Луцке вечером, при лампе, с глубокой амбразурой монастырского окна, завешанного черным на случай неприятельских налетов; и довольно большой портрет В. И. Гурко. Я написал его осенью 1921 года в Лондоне. Гурко изображен в сидячем положении, по колени, на фоне голубого неба, дальних русских лесов и лабиринта траншей, о которых он так много думал, составляя свой устав. На розовой полосе горизонта — клубы дыма от горящей деревни.

Сидящая голова Гурко непокрыта; на плечи декоративно наброшено (по его мысли) старое пальто — на серой, общеофицерской, а не красной генеральской подкладке. Генерал опирается обеими руками на серебряный эфес кавказской казачьей шашки; с эфеса спадает жирная кисть темляка на широкой георгиевской ленте.

Генерал похож! На меня смотрят его серьезные, даже суровые глаза и удачно схваченное выражение рта — сжатого и решительного. Это Гурко в деловые минуты. Мой профессор живописи, увидев портрет, заметил: «Это человек маленького роста, с большой, умной головой, твердый человек, шутить с ним опасно!».

Наблюдение верное, но Гурко умел и посмеяться, и тогда его лицо совершенно преображалось. Жесткие складки заменялись сетью разбегавшихся веселых морщинок, а в глазах светилось добродушие.

Именно к этому выражению лица шло ласкательное «Гурочка», которым за глаза называл Василия Иосифовича его начальник штаба Алексеев.

Когда что-нибудь озабочивало Гурко или он сердился, речь его напоминала бурный поток, с басовыми нотами, несущийся по камням. «Командующий бур-

лил», говорили про него. Гроза или забота миновали, — и Гурко снова входил в свои берега спокойной и справедливой деловитости.

Все знали, что Василий Иосифович горяч, но отходчив. Провинился как-то подчиненный мне командир телеграфной роты. Гурко приказал вызвать его к себе. Я присутствовал при этом разговоре «командарма» (по сокращенному коду) с телеграфным подполковником, если только можно назвать так бурный монолог Гурко, нервно ходившего по кабинету, и испуганно-молчаливое стояние навтыяжку виновного. Но вот, — все, что требовалось, было сказано; поток стал спадать; Гурко вдруг переменил тон. «Кстати, — сказал он, смотря скорее ласково, чем гневно, на бледное лицо «разнесенного им в пух и прах» офицера, — раз вы тут, не можете ли вы мне объяснить...» и задал ему какой-то чисто технический вопрос из области электрических проводов. Я оставил их в долгой и почти товарищеской беседе на эту тему, причем уничтоженный было подполковник превратился в учителя, а «командарм» в прилежного ученика!...

.

Штаб Особой армии оставался первое время, в начале сентября 1916 г., в Рожище. Как я упоминал выше, мысль о возобновлении атаки не была оставлена и на перемену командования смотрели наверху как на обеспечение успеха наступления. Гурко присматривался, знакомился с положением, обходил окопы, добирался иногда по зигзагам ходов сообщения до передовых «секретов», но не торопился. Пока же главной чертой нашего пребывания в Рожище были почти ежедневные бомбардировки его с воздуха. Налеты, начавшиеся 15 июля, вообще сделались регулярными и постепенно усиливались. Мы соответственно зарывались в землю. Местечко покрылось блиндажами. Вырыли «генеральский» комфортабельный блиндаж и для меня при доме, в который я перебрался после отъезда Игнатьева и который находился в нескольких минутах ходьбы от основной усадьбы штаба.

Но блиндаж этот не принес мне пользы: каждый раз, как я решался провести ночь в сырости моего под-

земного убежища, аэропланы не прилетали. Но стоило мне лечь спать в доме, как рано утром, часов в 5, меня будил гром рвавшихся вокруг бомб. Соскочить с кровати и бежать тогда, в одной рубашке, через двор в блиндаж было стыдно и карикатурно! Приходилось продолжать делать то, что мы делали с Игнатьевым, когда о блиндажах еще не было и помину: осколки выбивали дробь по стенам и по крыше нашего домика, а мы с Игнатьевым терпеливо выжидали, когда этот дождь пройдет.

Как-то раз воздушные бомбардиры налетели на Рожище вечером, часов в 8, когда уже стало темно и чины штаба, под председательством Гурко, ужинали в саду под открытым небом. Это было испытание нервов. Свист бомб, шум разрывов и жужжанье самолетов, кружившихся над местечком, были плохим музыкальным развлечением при ужине. Несмотря на то, что программа была приурочена к началу трапезы, нашлось немного охотников досидеть за ней до конца. Покинул стол, не дождавшись жаркого, один; его примеру последовали другие... Бегства не было; ужинавшие «отступали» по одиночке, в порядке и с видом беспечности; но стол быстро опустел! Остался до последней чашки кофе лишь сидевший на конце длинного стола Гурко и его два соседа: старик петроградский улан, балтийский немец, доброволец и чин для поручений, состоявший еще при Безобразове, и я. Должен сознаться, что выпив свой кофе, я счел свой долг выполненным и ушел. Гурко с уланом остались в дружеской и спокойной беседе. Они «пересидели» бомбы!...

Самолетов у нас по-прежнему было еще так мало, что мы не могли ни воспрепятствовать этим налетам, совершавшимся безнаказанно, ни сколько-нибудь серьезно мстить за них тем же оружием.

Тем не менее летчики наши не упускали случая подняться днем навстречу неприятельским аэропланам и вступить с ними в бой, если соотношение сил это позволяло.

Мы все были свидетелями, к сожалению, одной такой схватки, кончившейся гибелью нашего аппарата и двух летчиков. Это было единоборство в чистом голубом небе на незначительной сравнительно высоте, над окраиной Рожище. Самолеты кружились один около

другого, как две птицы, то снижаясь, то вздымаясь кверху. Раздавались ясные звуки коротких пулеметных «пачек». С величайшим волнением следили мы, кто — в бинокль, а кто и простым глазом, за исходом этой дуэли. Вдруг наш аппарат как-то странно дернулся, пошатнулся, как подстреленная птица, и стал, кружась и извиваясь, быстро, быстро падать...

Немец же плавно поднялся ввысь и полетел «домой» с победным донесением...

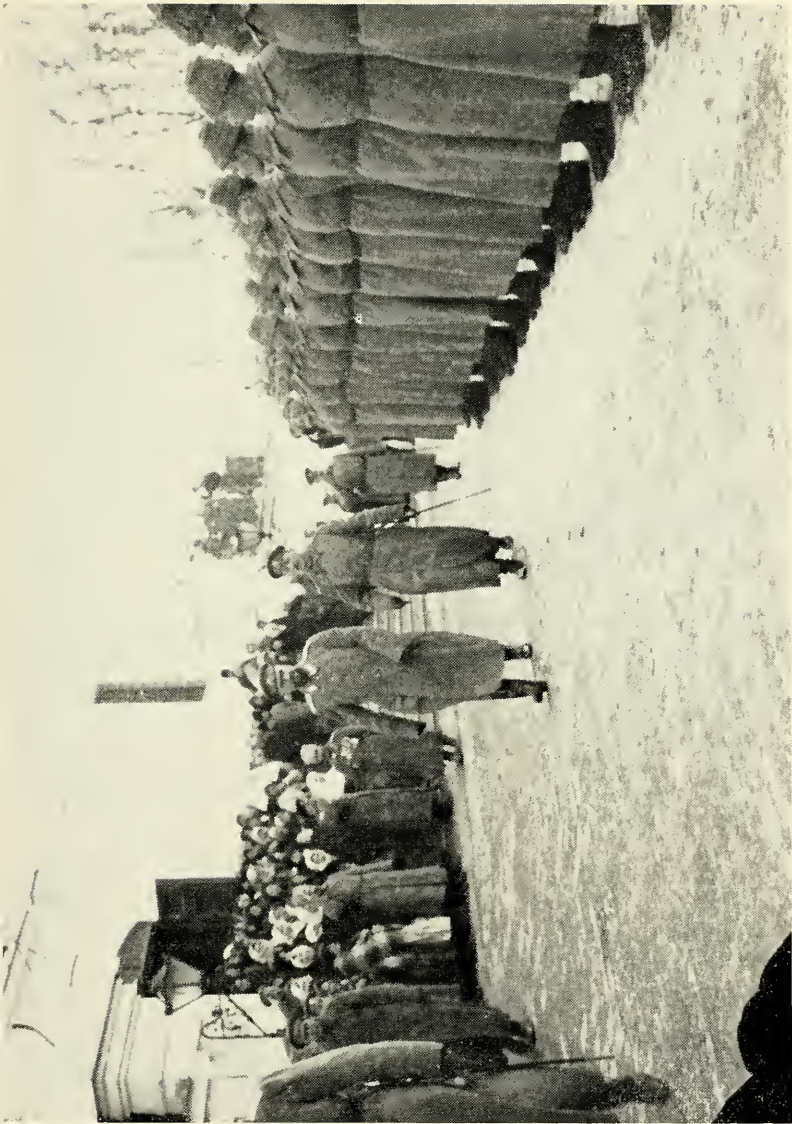
На другой день мы торжественно, с воинскими почестями хоронили наших героев-летчиков. В венок от авиационного отряда был вставлен обломок пропеллера *).

Со вступлением Гурко в командование армией на Ковельском участке изменился характер оперативных сношений со штабом Юго-Западного фронта. Последний, так же как и Могилев, уже не навязывал своих планов и не подсказывал, а спрашивал мнения и совета Гурко. В длинных переговорах по прямому проводу было видно, как постепенно Гурко забирал в свои руки вопрос управления будущей операцией вообще, то есть и за пределами своей собственной армии. Волшебная лента аппарата Юза выстукивала пространные и убежденно мотивированные соображения «командарма Особой», в ответ на которые ползла и закручивалась в моток покорная и на все сдающаяся лента «наштаюза» или самого «Главкоюза».

Так, шаг за шагом, выработалась общая линия предстоящих действий фронта, построенная в зависимости от плана Особой армии и внушенная наверх ее командующим. В средствах для исполнения этого плана Гурко не получал отказа. В результате, армия его разбухла до невероятного числа корпусов *), — одно время их было 12 или 14! Вспомним, что Безобразову отказали в ОДНОМ — для развития его удара.

*) У меня сохранились фотографии, изображающие, как Гурко со штабом несут на руках гроб одного из авиаторов к лафету, — боевой погребальной колеснице.

*) Хорошо помню корпуса : 39-й, 25-й, 34-й, 40-й, 30-й, 1-й, 1-й Туркестанский, 4-й, 8-й, 5-й, 1-й и 2-й Гвардейские.



В штабе Особой армии. Луцк, декабрь 1916 г.

Посыпались в армию и добавочная артиллерия, и авиация, и разная техническая мелочь. Армия действительно заслуживала название «Особой».

Первое, что сделал генерал Гурко в области оперативной идеи, вникнув в условия, существовавшие на направлении Луцк-Ковель, — он отказался от главного удара на Ковель. Отрицательные условия эти, разумеется, не родились с образованием новой армии; именно они и остановили успех войск Безобразова. Но такова была сила аргументации Гурко, что и у штаба фронта и у Ставки вдруг открылись глаза на то, что им следовало видеть без посторонней помощи. Теперь они уверовали в непогрешимость тех самых доказательств, которые в свое время представлял своим не научным языком Безобразов и которые отвергались как лепет ребенка!

Участок атаки было решено сдвинуть на юг, на более доступную местность и на направление, ведущее к овладению Владимиром-Волынским.

В связи с этим в подчинение Гурко перешла часть корпусов, прежде входивших в состав соседней 8-й армии Каледина, фронт Особой армии значительно раздвинулся, а 8-я армия со своим штабом спустилась еще далее на юг.

Все эти оперативные и географические перемены вызвали естественный переход штаба Особой армии в Луцк, где до того стоял штаб Каледина, и откуда, как из центра, удобно было руководить операцией по фронту широкого сектора, глядевшего своим правым крылом на Ковель, а левым — на Владимир-Волыньск.

Штаб прочно осел в здании старого католического монастыря с очень толстыми стенами и сводами.

В нижнем этаже вдоль длинного коридора поместились: служба связи, Алексеев и Гурко — рядом, оперативное мое отделение и общая столовая.

Мне отвели целую квартиру в кельях второго этажа. Получились просторные кабинет, спальня и комната для денщика.

Понатащили, усердием коменданта штаба, кое-какую мебель из города в дополнение к моей походной койке и повесили над довольно потертой оттоманкой олеографию, изображавшую голову типичной печатной «красавицы» с роскошными волосами и бюстом.

Вскоре после перехода штаба армии в Луцк у нас началась горячка подготовки к наступлению в направлении на Владимир-Волынский. Не подлежит никакому сомнению, что в основу этой операции была заложена мысль нанесения противнику сильного частного удара; он должен был выражаться прежде всего в прорыве укрепленной полосы неприятельских позиций на кратчайшем пути к Владимиру-Волынскому, а затем в решительном преследовании и в расширении этого прорыва.

Фронт для атаки был выбран намеренно узкий — одного корпуса — с тем, чтобы собрать за ним наибольшее количество артиллерии. Будучи эшелонирована в глубину, подкреплённая на этот раз более тяжелыми калибрами, с организацией флангового и перекрестного обстрела, артиллерия эта — предполагалось — могла создать мощный ураган огня и напомнить, хоть и в слабой степени, огневой удар Макензена в Галиции в 1915 году.

Необходимостью сосредоточить возможно большее число батарей и иметь — для развития прорыва — готовые ринуться вперед резервы и объяснялось то необычное число корпусов, которое было подчинено Гурко на время этой операции.

Ударным и ведущим корпусом был выбран 25-й, считавшийся крепким и имевший во главе его известного генерала Л. Г. Корнилова. Он недавно перед тем бежал из австрийского плена и был награжден после этого за свою храбрость и прежние подвиги крестом св. Георгия 3 ст.

Гурко принимал личное и деятельное участие в разработке деталей атаки. Мы ездили с ним в штаб Корнилова для совещания на эти темы. Само собой разумеется, что часть других корпусов должна была принять участие в атаке на флангах 25-го корпуса; в особенности рассчитывали на их содействие левее, где нужно было овладеть двумя нелегкими укрепленными местными предметами — так называемым Квадратным лесом и с. Свинюхи, тоже с лесом. Повторяю, — леса давались нам всегда трудно.

Штаб перешел в Луцк в первых числах сентября и не сразу расположился в монастыре. Сначала было какое-то казенное здание, быть может, гимназия. Имен-

но в нем мы пережили сентябрьскую операцию. Настоящее начало подготовки к ней нужно отнести к 10 сентября, когда Особая армия снова была возвращена в состав Юго-Западного фронта.

14-го противник атаковал нас сам в стык Особой армии и 8-ой (у с. Свинюхи). Это заставило отложить нашу атаку на несколько дней. Она была начата на участках 8-ой и Особой армий 19-го и на фронте Особой продолжалась с величайшим упорством до 22-го. Двумя днями раньше, 17-го, перешли в наступление южные армии Юго-Западного фронта — 11-я и 7-я.

Несмотря на тщательность разработки плана, произвести прорыв на Владимир-Волынском направлении не удалось. На ураган нашей артиллерийской подготовки противник отвечал не меньшим огневым потоком по атакующей пехоте и по батареям. Мы овладевали первой или второй линией окопов, но за ними, в глубине, оказывались еще новые линии, опорные пункты, укрепленные местные предметы. Неприятель обрушивался из них на наши цепи огнем свежих пулеметов, хорошо защищенных, и русская пехота либо «залегала у проволоки», как доносили войска, либо «отходила в исходное положение».

Потери были большие.

Гурко тем не менее решает повторить атаку через 3 дня. Фронт ее расширяется, и для удобства управления образуется две группы корпусов, — северная и южная.

С благословения Брусилова Особая армия, насыщенная войсками, снова идет на штурм 25 сентября... Опять порыв, опять кое-какие мелкие частные успехи и опять общая неудача.

Становилось ясным, что противник с самого начала не был застигнут врасплох; что против нашей ударной группы он был достаточно силен, по всей видимости ожидая повторного Ковельского наступления*). Не помогла и своего рода предупредительная атака 6-7 сентября на фронте соседней слева 8-й армии. Она велась с большой энергией, достигая некоторых успехов, и заставила противника насторожиться и притянуть

*) Впоследствии определилось, что силы были примерно равные.

резервы, особенно ввиду обнаружения на этом фронте нашей гвардии, переданной из Особой в 8-ю армию **).

Для нас же, в смысле результата, новое наступление не дало и того, чего достигла армия Безобразова в июле на менее доступном Стоходе (теперь пассивное крыло). И нельзя даже было похвастаться взятыми орудиями и пленными!...

По своему упорному характеру Гурко не мог так легко признать себя побежденным. По мере того как перед ним вырисовывалась картина неудачи, он своим находчивым умом придумывал, как обратить неуспех решительного прорыва в успех «вспомогательной» операции широкого стратегического значения?

Энергичнее застучали Юзы, длиннее и чаще сделались непосредственные разговоры Гурко по прямому проводу со штабом Юго-Западного фронта. Стойко и убежденно доказывал Гурко, что дальнейшие повторные атаки должны иметь в виду новые цели: удерживать против нашего фронта возможно большие силы неприятеля и даже заставить его перебросить подкрепления с французского фронта, где еще не кончилась Верденская операция.

Я не могу утверждать, что эта коренная перемена задачи, внушенная генералом Гурко наверх, была формально закреплена соответственно отредактированной директивой. Едва ли, ибо правило всякой хорошей демонстрации — держать войска в неведении, что они демонстрируют. Но изменение задачи и согласие штаба фронта и Ставки были закреплены на лентах переговоров Гурко с этими штабами. С этой минуты никто уже там не ожидал радостного известия о падении Владимира-Волынского. Гурко же оставалось превратить в намеренную систему удары накоротке, получившиеся такими в начале операции вследствие не-

**) Между прочим, видное участие в этой атаке принял лейб-гвардии Измайловский полк, показавший, что мое тактическое обучение не пропало даром. Был ночной и лесной бой, брали три линии окопов, почти все офицеры выбыли из строя, но роты успешно и толково велись унтер-офицерами. Полк взял в плен свыше 1.000 пленных с офицерами, — все германских частей, пулеметы и т. п. (бой от развалин Корытниц на позицию у с. Свинюхи).

возможности прорвать укрепленную полосу неприятеля. Так Гурко и поступил.

Вместе с тем он, как автор новой задачи, оказался первым прозревшим бессмысленность дальнейших стремлений к захвату Ковеля и Владимира-Волынского. Ни тот, ни другой пункт не имели решительно никакого стратегического значения. Вначале шел вопрос о нанесении нового удара австрийской армии в надежде на вывод ее из строя. Слово «Ковель» затем, после неудачи (с ударом явно опоздали), из указания направления атаки превратилось в самоцель. Гурко ловко выдернул эту занозу из стратегического мышления Ставки и фронта.

С переменной задания цель наших атак — привлечь на себя и отвлекать от французского фронта силы противника — оправдывалась чистыми стратегическими интересами.

Нужно было теперь продолжать «долбить», — в некоторое подобие упрямых атак немцев в то же время под Верденом, — но следовало избегать при этом чрезмерных потерь, чтобы не сделать диверсию слишком дорогой. Для этого Гурко решил повторять атаки постоянно свежими войсками, сменяя части, понесшие, если так можно выразиться, достаточные, не слишком чувствительные потери.

Метод этот вызвал чрезвычайно сложную штабную работу, всецело легшую на наши «оперативные» плечи. В то время как на фронте велся бой, в тылу маршировали, но больше ночью, чем днем, дивизии наших многочисленных корпусов. Необходимо было вовремя и скрытно подвести к позициям следующую смену; эшелонировать, согласно расписанию, колонны одних, поставить временно по квартирам других. Требовалась ювелирная работа по всем этим расчетам, чтобы избежать перекрещиваний, опозданий, стеснения на сравнительно ограниченной площади нашего тыла. И, наконец, думать о скрытности!

В течение двух недель оперативная часть штаба не смыкала по ночам глаз, а в это время тыл Особой армии кишел как муравейник. Кто шел, кто располагался на отдых, кто развертывался перед вступлением в боевую зону...

В этот лихорадочный период Гурко интересовал-

ся двумя главными вопросами: какие были потери за день и какие новые данные мы имеем о противнике на нашем фронте. Сведения о потерях регулировали смену войск, а в сведениях о неприятеле искали, не появились ли у него свежие части и, особенно, нет ли перебросок с французского театра.

При новой постановке задачи мы приветствовали каждый признак усиления неприятеля, прямой или косвенный, и радовались тому, что в обычных условиях должно было нас тревожить и огорчать.

Несомненно, неприятель не мог тогда снять с нашего фронта ни одного солдата, и были указания, что он подтянул с других участков и ввел в боевую линию свои резервы. Что касается до дальнейших перебросок, наиболее для нас желанных, я не могу припомнить имелись ли твердые доказательства таких перебросок.

Долбление на фронте Особой армии с аккомпаниментом на участке 8-й, было прекращено 4 октября. Все корпуса получили прописанную им более или менее гомеопатическую дозу кровопускания, а бои, «от всего сердца», за ненужный «Квадратный лес», в которых урон сильно превзошел норму, вошли в историю гвардии как пример ее доблести и упорства.

После всего этого Гурко мог донести, что «демонстративная задача» Особой армии была выполнена, подкрепив этот вывод сводкой сведений о числе неприятельских частей, обнаруженных или предполагавшихся, с той или другой долей вероятия, против нашего фронта.

Сын маститого фельдмаршала, героя балканской войны 1877-78 гг., Василий Иосифович мог последовать теперь примеру своего отца, снявшего шапку перед Лейб-Егерями, отбитыми с огромными потерями от Телишского укрепления 12 октября 1877 г. Да, они были отбиты, но выполнили свою демонстративную задачу: удержали против себя турок и способствовали взятию Горного Дубняка.

Солдаты сочинили тогда песню, начинавшуюся куплетом:

«Генерал Гурко явился,
Слово ласково сказал.
Своей правою рукою
Горный Дубняк показал...»

Василий Гурко показал было вначале решительную местную цель, тоже обозначенную двойным именем — Владимир-Волыньск. Гвардейцы его отца взяли Горный Дубняк, а корпуса Особой армии даже не приблизились к Владимиру-Волыньскому...

Но за «демонстрацию», как эта операция была потом переименована, за искренность боевого порыва войск и понесенные ими потери стоило снять шапку перед дивизиями Особой армии октября 1916 года и низко им поклониться.

Четырехмесячная, начиная с мая, чрезвычайная активность русского Юго-Западного фронта 1916 года имела следующие стратегические результаты: мы оттянули на себя австрийцев с нового итальянского фронта и спасли итальянцев накануне полного их разгрома; существенно помогли французам под Верденом, заставив и германцев броситься на восток для спасения австрийцев; вызвали выступление на нашей стороне торговавшейся и колебавшейся Румынии. Последнее — к сожалению, ибо оно лишь на короткое время отвлекло немцев от главных театров и на очень долгое подорвало русскую стратегию: пришлось разжижить и без того жидкий фронт наш, перебросив несколько корпусов для выручки разбитых румын; русская линия — и так растянутая — растянулась теперь непомерно. Выступление Румынии, которого по близорукости так добивались союзники, принесло им только вред.

Наконец, неудачи австро-германцев на русском фронте и германцев под Верденом послужили причиной замены руководителя германской стратегии 1916 года Фалькенгейна стариком Гинденбургом в компании с Людендорфом.

Велики были потери, понесенные русской армией в течение летних и осенних операций; закончились они в ноябре красивой победой 9-ой армии в Буковине. Являлся вопрос — могли ли мы позволить себе роскошь таких потерь?

После того как все на нашем фронте успокоилось, Брусилов собрал в Бердичеве совещание всех командующих армиями на Юго-Западном фронте. Гурко взял

на это совещание и меня. Поехали особым поездом. Я — с толстым портфелем всевозможных справок.

Совещание состоялось в поезде Главнокомандующего, а после него там же — обед. Я встретил впервые после начала войны Д. Г. Щербачева, ставшего с тех пор командующим 7-ой армией, генерал-адъютантом, имевшим не только маленького Георгия на груди, но и большого — на шее.

На совещании наметили план на зиму — готовиться к весеннему наступлению — и остановились на нуждах армии, чтобы их удовлетворить.

Технически мы становились сильнее, но возник вопрос «морали».

Начиная с октября, в окопы стали проникать листки революционного направления. В них велась, прежде всего, антивоенная пропаганда, издавала подготавливавшая дорогу для большевистского лозунга: «мир без аннексий и контрибуций».

Штабам и войсковым командирам прибавилась еще одна забота: борьба с этим просачивающимся ядом и пресечение притока прокламаций. Несмотря на принимаемые меры, пропаганда медленно, но верно делала свое дело, и на фронте имели место, хотя и редко, случаи неповиновения и нарушения дисциплины. Был такой случай и в нашей Особой армии. Пострадал командовавший второочередной дивизией генерал Генерального штаба. Отрешенный от командования несчастный козел отпущения был в отчаянии и плакал у меня в кабинете настоящими слезами! Но выручить его было не в моих силах. Я только сделал все, что мог, чтобы поддержать беднягу нравственно, огладить его, объясняя трудное положение в этом вопросе командующего армией.

В оперативном отношении Особая армия, как почти и все остальные на русском фронте, на пороге третьей зимы, осела в своих окопах и приступила к их усовершенствованию. Вернулись к позиционной войне. Части получали подкрепления и приводились, если не в штатный, то в более сильный состав. Но в этих подкреплениях заключался и элемент ослабления: солдаты были уже не те, что прежде; обучение и воспитание в тылу были далекими от совершенства; офицеры постепенно вырождались в армию «прапорщиков», среди ко-



В штабе Особей армии. Справа — временно командующий армией генерал Балуйев

торых появились и будущие демагоги первой и второй революций будущего года. Наконец именно через эти пополнения доставлялись в армию упомянутые выше листовки.

Жизнь в штабе вошла в известную рутину. Гурко ездил на позиции, тщательно знакомился с ними и с начальниками и, возвращаясь, думал о том, как можно усилить тот или другой участок. Составлялись инструкции и приказы (тактические обыкновенно поручались мне и чаще всего утверждались Гурко в моей редакции без поправок). И, конечно, шли очередные доклады.

Случалось, Гурко командировал меня на позиции. Однажды пришлось объехать и обойти длинный участок, побывав и в передовом окопе в расстоянии трех десятков шагов от выдвинутого неприятельского. Какой-то грузный немец в каске приподнялся из окопа с бревном на плече. Свистнула откуда-то наша пуля. Немец спрятался, а из окопа просвистало несколько ответных германских пуль.

В этот период затишья я решил испытать воздушный полет, для чего вручил себя в руки подчиненного мне командира авиационного отряда. На аэродроме меня одели в особый костюм, маску и т. п. Я только что кончил этот маскарад и вышел из ангара, как прилетел немец и пронесся над нами так низко, что ничего не стоило бы его подстрелить, будь под рукой готовый пулемет. Но пока люди бросились за пулеметом, немец поднялся ввысь и улетел. Он не стрелял и не бросил бомбы. Нужно думать, что он не мог этого сделать, будучи в каком-то затруднении, заставившем его так снизиться на несколько секунд над нашим аэродромом.

Почувствовав, что упустили немца, мы с моим капитаном поднялись, в свою очередь, и полетели к неприятельским позициям. Я помещался позади пилота, в очень неудачном положении, в открытом треугольнике хвоста; в моем распоряжении был легкий пулемет Льюиса — «на всякий случай». Чувство при подъеме испытывалось странное, — совершенно незаметное отделение от земли. Потом — географическая карта с ее линиями и планами. Интересно, что принятые у нас для карт условные знаки лесов, деревень и полей совер-

шенно походили на их вид с большой высоты. Но мне, с непривычки, все же трудно было ориентироваться по имевшейся у меня карте. Разговаривать с пилотом было нельзя из-за страшного шума; когда я орал ему во все горло в ухо, прочно закрытое наушниками маски, мои слова подхватывало сильное течение воздуха, который мы рассекали, и слова эти уносились куда-то ветром! Думаю, что все это было по сравнению с теперешним очень первобытным. Полетав с час над позициями, мы повернули домой и благополучно спустились на аэродроме. Мы не встретили в воздухе ни одного неприятельского самолета.

При спуске земля как-то неожиданно подбежала под аппарат; вот мы ее коснулись и плавным движением вдоль аэродрома дошли до остановки.

После этого полета я порядочно оглох и отделался от глухоты и шума в ушах только через несколько дней.

С тех пор мне никогда больше не привелось летать.

Помимо моих прямых обязанностей на меня возлагались изредка и поручения вне области генерал-квартирмейстера. Так, однажды Гурко приказал мне осмотреть некоторые лечебные заведения, расположенные в Луцке, и навести страх на те, где я замечу халатную постановку дела. В одном случае этим разрешением пришлось воспользоваться.

В свободное время, благодаря стоянке в городе, можно было пойти в кинематограф. Фильмы были неважные, техника тогда вообще хромала, но все же представляли развлечение. Помню, я видел фильм «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Мирная атмосфера, водворившаяся в Луцке, лишь изредка нарушаемая воздушными налетами противника, вызвала приезд некоторого числа жен штабных офицеров. Образовалось даже нечто вроде «салона» в квартирке моложавой и недурненькой жены полковника Ш., ведавшего подвижным магазином Офицерского экономического общества гвардии.

Приехала и жена начальника штаба. Она поместилась отдельно от мужа и работала в одном из госпиталей. Жена Гурко, видная и умная дама, была энергичной начальницей передового санитарного отряда на нашем фронте и жила вблизи позиций, навещая мужа

в Луцке время от времени. После революции, когда Гурко выехал из России, изгнанный Керенским, супруги Гурко перебрались во Францию «кончать войну». Там жена Гурко и погибла, убитая случайной бомбой с аэроплана во время работы на перевязочном пункте.

В конце октября заболел от переутомления начальник штаба Верховного Главнокомандующего М. В. Алексеев и получил от Государя отпуск для поправления здоровья на Кавказ. В начале ноября генерал Гурко был вызван в Ставку, чтобы заменить его на время болезни.

Во временное командование Особой армией вступил генерал Балуев, командир 5-го корпуса. Это был человек кубического склада, плотный, широкоплечий, с короткой шеей и мясистым квадратным лицом, со щеткой жестких волос на голове, еще не очень седых. На его толстом носу сидели очки, а на лице, во всю щеку и частью на подбородке, было малиновое родимое пятно, сильно его безобразившее. К этому, однако, можно было привыкнуть, а по уму и характеру Балуев оказался приятным начальником. Твердый и определенный, умевший ясно и просто взглянуть на вещи. Тяжеловесность его исчезала в нужные решительные минуты, и он мог тогда быть быстрым не менее Гурко.

Балуев легко сошелся с М. П. Алексеевым и со штабом. Жизнь и быт наши продолжали течь по выбитой уже колее.

На Рождество я получил отпуск и провел три недели со своей семьей в Триканда, в Финляндии. Проезжая обратно в армию через Петербург, явился Гурко, который председательствовал там в военно-политической комиссии, составленной из представителей союзных держав.

Был январь 1917 г., какой-нибудь месяц или полтора отделяли Россию от крушения Империи.

Вскоре после моего возвращения в армию (меня заменял во время моего отсутствия барон А. Г. Вине-кен, бывший начальником штаба Гвардейского кавалерийского корпуса) возвратился из Могилева и Гурко. М. В. Алексеев, по выздоровлении, вступил в исполнение своей должности при Государе.

Внутренние события надвигались быстро, но решились они неожиданно.

Запасные батальоны гвардии в Петербурге, по числу людей — дивизии, забрасывались прокламациями и всякой революционной литературой. При моем проезде через Петербург в январе мне рассказывал об этом наводнении П. В. Данильченко, командовавший полчищем праздных и невооруженных людей в разбросанном квартале лейб-гвардии Измайловского полка. Он показал мне образцы листовок, которые постоянно какими-то путями попадали в казармы. Дисциплина, как говорил мне энергичный, но в этом случае бессильный командир, висела на волоске. На одного офицера приходилось несколько сот полумужиков. Влиять на них было трудно, держать твердо в руках невозможно. Такая плачевная организация запасных частей в Петербурге была преступлением. Она явилась одной из причин такого быстрого успеха уличного бунта, превратившегося в общий революционный пожар *).

На фронте, конечно, ничего подобного петербургскому развалу не было. Пропаганда, как я сказал выше, проникала в траншеи, кое-где достигала результатов, но, в общем, войска оставались твердыми, и никому не приходило в голову, что мы накануне революции.

Поэтому первые известия о ней 27 февраля явились громом с неба, которое казалось нам чистым и голубым или почти таким. Четыре дня до отречения Государя прошли в почти непрерывных разговорах по прямому проводу со штабом фронта. На моей обязанности было принимать лично днем и ночью эти длиннейшие ленты с выстукиваемыми на них «последними

*) Еще осенью 1915 года я подавал с фронта (из-под Сморгони) рапорт о необходимости вывести из столицы всю эту огромную массу бесполезных и неуправляемых людей, оставив лишь строго необходимое число, которое возможно было обучать и держать в порядке. Лично докладывал я о том же начальнику штаба Гвардейского корпуса генералу Антипову. Но начальство в Петербурге (печальной памяти карьерист генерал Чебыкин) наоборот раздувало эту толпу. Были основания предполагать, что Чебыкин мечтал стать командиром нового Гвардейского «резервного корпуса». Однако он избежал командования этим сборищем в решительные дни революции, так как был в отпуску по болезни на Кавказе.

новостями». Ползли из машины неожиданные слова, медленно складывавшиеся в совершенно невероятные фразы. С накрученными на руку лентами, напоминавшими макароны, я шел сначала к начальнику штаба, а потом к Гурко.

Делать было нечего! Революция шла помимо нас. Главнокомандующие фронтами, не исключая Великого Князя Николая Николаевича, «уговаривали» Государя отречься! А фронты, сами по себе, продолжали сидеть в окопах, пассивно, недоумевая. В столице кипел котел, а мы, прикованные к позициям против «врага внешнего», испытывали состояние паралитика, у которого голова еще кое-как работает, но пошевелиться он не может!

В середине ночи на 4 марта я принес Гурко ленты с известиями об отречении Государя. Генерала разбудили. Как теперь помню, что он вышел ко мне в пижаме из верблюжей желтой шерсти и сел на стол. Я стоял напротив. По мере того как Гурко постепенно разворачивал моток лент, нервное лицо становилось все более и более изумленным и озабоченным. И, наконец, когда он дочитал до того места, где говорилось об отречении Государя и за сына, он откинулся на спинку кресла и своим «бурливым» голосом воскликнул:

— Как это было можно! Теперь Россия потонет в крови!...

Повторяю, мы ничего не делали, только читали и принимали к сведению, что в одну ночь из верных монархистов превратились в республиканцев... Но В. И. Гурко, так недавно видевший Государя каждый день, делавший ему доклады, видевший и Наследника, который был в Ставке, не мог оставаться в роли безучастного зрителя этой катастрофы, которой подверглась династия.

Он написал Государю письмо. Оно было коротким, но душевным. Впоследствии оно попало в печать, и все могли ознакомиться с содержанием письма. Гурко оказался единственным человеком, который ощутил потребность выразить свою симпатию и пожелания Монарху, которого он был приближенным слугой. И причем Гурко из числа приближенных генералов, не имел вензелей Государя, — этого признака особой Монаршей милости. Эти вензеля имели М. В. Алексеев,

Рузский, Брусилов и Эверт. Еще один человек выказал благородство и мужество в эти смутные дни и тоже не генерал-адъютант. Это был Лечицкий, командовавший 9-й армией. Он немедленно подал в отставку.

Письмо Гурко нужно было отправить с верным офицером, чтобы тот сумел передать его в Могилеве в собственные руки Царя. Выбрали одного офицера лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка.

Он привез обратно милостивый благодарственный ответ Государя.

Благородный порыв Гурко был вознагражден : когда правительство Керенского нашло это письмо осенью 1917 года в бумагах арестованного Государя, Гурко тоже был посажен в крепость, а затем выпущен с условием покинуть Россию.

При этом ему разрешалось взять известную сумму денег, а его жене — ее драгоценности!

Насколько знаю, это был единственный случай революционного взыскания, наложенного в форме остракизма.

Изгнание произошло для Гурко вовремя : недалеко был приход к власти большевиков. Через два месяца, оставаясь Гурко в России и под арестом, ему пришлось встретиться с Чека.

Письмо спасло его.

К тяжелым воспоминаниям этого кошмарного периода у меня лично прибавляется еще одно : самоубийство А. Г. Винекена.

За время нашего стояния в Луцке я виделся с ним довольно регулярно, так как он занимал должность начальника штаба Гвардейского кавалерийского корпуса, а последний входил в состав Особой армии. Штаб корпуса был расположен не так далеко от Луцка, под г. Ровно. Винекен приезжал в штаб армии по делам, оставался, по-родственному и по дружбе, у меня и не раз ночевал.

Мы с ним иногда обедали нарочно не внизу, в общей столовой, где нужно было сидеть среди разного начальства (мое место было, например, прямо напротив Гурко), а у меня, наверху, где мы могли в тишине

предаваться за трапезой и стаканом бордо разным воспоминаниям. Вспоминали японскую войну и службу в Главном Управлении Генерального штаба; вестового Винеке — гродненского гусара Пищухина, обливавшего его по утрам из ведра во всякую погоду холодной водою; мечтали о том, как вернемся когда-нибудь в Петербург и будем «щеголять» в полковых формах — Винекен в своей серебряной гусарской, я — в измайловской. Саша Винекен был человек, любивший семейность, и потому он часто наводил разговор на то, где и что делают Мара Шмурило или Аля Ден; затем смеялся своим коротким, открытым смехом и спрашивал меня: «А как поживает Соня Гильхен?».

Сохранилось его письмо к моей жене, написанное 10 декабря 1916 года. Он писал в нем: «Что касается моего здоровья, то жаловаться не могу... Для меня служит большим утешением близость вашего мужа. Хотя мы оба страшно заняты, но все же удастся иногда встречаться и поговорить по душе с милым Борисом Владимировичем. И эти разговоры всегда меня утешают, успокаивают и подбадривают. Car nous passons tous par un temps très dur».

Во время моего отпуска, как раз вскоре после этого письма, Винекен заменял меня в штабе армии и его одинаково полюбили как М. П. Алексеев, так и временные подчиненные — чины отдела генерал-квартирмейстера.

В марте, в разгар революционных известий с тыла и с фронта и наших стараний применить к приглашенным новым порядкам, Винекен как-то приехал в штаб по делам корпуса, в котором, как и везде, шло глухое брожение. Он ночевал у меня, жаловался, что переутомился, что хотел бы поехать в отпуск отдохнуть *). Действительно, Винекен вскоре подал рапорт

*) После смерти баронессы М. Медем, регулярно собиравшей в Петербурге родственников, этот семейный долг принял на себя А. Г. Винекен. В конце 1913 года (кажется) он устроил первый общий обед; сделал он это широко и нарядно у себя на Кузнечном пер. За стол село около 25 гостей, — только родственники. В гостиной на мольберте находился альбом фотографий всей родни, — нововведение Саши Винеке. Все это было очень симпатично обдумано и носило теплый характер. Но первое такое собрание у Винеке было и последним.

об увольнении в отпуск, но по разным причинам разрешение оттягивалось. Это его беспокоило и нервировало. Наконец я узнал, что он получил разрешение ехать.

Велико было удивление мое и всех других, знавших жизнерадостность Винеку, когда почти одновременно мы слышали, что он застрелился.

Я немедленно выехал на автомобиле в Ровно, в окрестностях которого стоял штаб Гвардейского кавалерийского корпуса. Бедный Винека лежал в открытом гробу в зале помещичьего дома; стояли почетными часовыми два гродненских гусара. Больно было видеть лицо друга, искаженное, с уродливой раной в области виска.

Командир корпуса генерал Хан Нахичеванский сказал мне, что совершенно не понимает причины самоубийства. Правда, Винека последнее время явно страдал неврастенией, видимо на почве переутомления. Но у него в кармане уже был отпускной билет! Он мог ехать в нужный ему отпуск в любую минуту.

Тело его нашли рано утром у стола, в кресле. Он был полураздет. На голову он, с очевидным намерением не чувствовать холода, стал револьвера, нахлобучил папаху.

На столе нашли записку примерно такого содержания: « Я поступаю так потому, что чувствую себя больше не в силах работать с пользою во время, когда это особенно нужно ». Затем он дал указание, что сделать с деньгами, и завещал 100 рублей своему денщику.

На отпевание съехались депутаты от полков корпуса, многие офицеры — с красными бантами на груди! Помолились, возложили венки, простились с покойником и на руках отнесли гроб к могиле под звуки печальной молитвы « Коль славен », которую играли кавалерийские трубачи. Могила была вырыта тут же в усадьбе помещичьего дома, в дальнем углу большого сада...

Мне оставалось написать о том, как мы похоронили Александра Георгиевича, его вдове Ольге Николаевне. Я, в качестве дальнего родственника, оказался единственным представителем семьи на этих похоро-



В штабе Особой армии. Сидит за столом генерал майор Винекен

нах и с этой мыслью бросил последнюю горсть земли на гроб друга *).

В день официальной присяги Луцкого гарнизона Временному правительству кому-нибудь из старших начальников нужно было возглавить церемонию. И Гурко и М. П. Алексеев уклонились от этой неприятной обязанности, перепоручив ее мне. Я спросил, могу ли я провести ее без речей, без которых теперь не обходилось ни одно появление начальства перед войсками. Нет, я должен сказать «пару слов», указав на необходимость поддержания, прежде всего, порядка и дисциплины.

— Вы сумеете это сделать, — поощрил меня начальник штаба.

Гарнизон Луцка состоял из разных тыловых команд и полустроевых частей, которые были построены в усадьбе местной православной церкви. Вышли эти части, не нюхавшие пороха, с красными бантами вместо орденов и с красными знаменами, над изготовлением которых нужно было повозиться. На них красовались всевозможные надписи, одобрявшие свободу и революцию. Кое-где длинные тексты были нашиты на полотнища, укрепленные на двух шестах. Плакаты эти держали развернутыми по два солдата. Кстати, слово «нижний чин» было накануне изгнания из официального языка, как «унижающее», а вместо него вводился общежитийский термин «солдат». Мало кто подозревал, что в переводе, по существу, это слово значит «наемник».

Должен сказать, что я не надел красной розетки на этот случай, как ни разу не сделали этого Гурко и Алексеев. За все время революционного угара на фронте я служил кратковременным русским правительствам того времени, не свидетельствуя своей «приверженности революции» посредством красных знаков на моей груди.

*) Уже в эмиграции офицер-журналист напечатал о смерти Винекена, описывая те кошмарные дни, что он пал жертвой преследования солдат. Как видно из записки, версия эта не имеет никаких оснований.

После службы и молебна в церкви состоялось чтение присяги на дворе перед фронтом, пестревшим красными знаменами и плакатами. Мы, по-старому, держали во время этого чтения поднятой правую руку с пальцами, сложенными в крестное знамение. До свержения религии еще было далеко.

Затем я произнес свое «слово», а после него пропустил всю эту солдатню мимо себя церемониальным маршем. Он скорее напоминал деревенский крестный ход с той разницей, что вместо икон и хоругвей несли лес красных знамен и плакатов.

Все это обошлось без происшествий, и я благополучно вернулся в своем паккарде в штаб. Вернулся с облегченным вздохом, но и с уверенностью, что мы покатымся по наклонной плоскости, от чего нас не спасет никакое красноречие.

Пришлось мне потом отдельно обойти все подчиненные мне, как генерал-квартирмейстеру, части. И везде говорить, говорить, говорить...

К счастью, в то время, когда на армию с тыла напирал враг внутренний, облекшийся в овечью шкуру законного правительства, враг внешний ничего против русского фронта еще не предпринимал и лишь со злобством следил за постепенным разложением этого фронта. Снаряжался знаменитый «пломбированный вагон», чтобы торжественно доставить в Россию из Швейцарии большевиков с Лениным во главе. Высадилась в Петербурге эта компания 19 апреля, — событие историческое, послужившее впоследствии основанием к переименованию Петровской столицы в Ленинград...

В армии шли перемещения старших начальников — торопливые и часто ни на чем не основанные; раздался приказ № 1, сразу подорвавший дисциплину и ошельмовавший офицера; начались реформы и чистки первого штатского военного министра Гучкова, еще в мирное, царское время готовившего себя к этой должности.

В период этой сумятицы на верхах войска продолжали по инерции сидеть в окопах, благодаря самоотверженной деятельности младшего офицерского состава, внезапно превратившегося в корпус правых «демагогов», старавшихся опрокинуть или хотя бы сдержать левую пропаганду; последняя забирала все левее и ле-

вее, все ближе и ближе к большевизму и марксизму. Шел упорный и сознательный подкоп под боеспособность армии. Были выкинута лозунги « мир хижинам, война дворцам » и « мир без аннексий и контрибуций ».

Как кажется, в конце марта Гурко получил назначение Главнокомандующим Западным фронтом. Его лично знал и по-своему ценил Гучков; они работали до войны вместе в комитете Государственной думы по обороне, а знакомы были еще с бурской войны (1899-1901 гг.), на которую поехали, один — состоять при англичанах, другой — при бурах.

Гурко, конечно, увез с собой М. П. Алексеева. Особую армию принял генерал Балувей.

Кто получил штаб? Не уверен, но кажется — красивый и стройный Вальтер, которого я знал по русско-японской войне *). Возможно, что до его приезда обязанности начальника штаба исполнял я. Служить мне с новым начальством пришлось недолго.

Особой армии дали другой участок, непосредственно прилегающий с юга к Пинским болотам (после расформирования 3-й армии Леша, прозевавшей здесь 22 марта противника, отнявшего у нее Червищенский плацдарм на р. Стоходе). Соответственно перешел на новый участок и штаб армии. К северу от р. Припяти, в тех же болотах стояла 2-я армия, начальником штаба которой тогда состоял мой брат. Явилась возможность поговорить с ним по прямому проводу и увидеть на ленте начальные слова: « Здравствуй, Боба! ».

Записать об этом апреле 1917 года нечего, так как ничего, кроме углубления революции, и не происходило, а 1 мая и я расстался с Особой армией, получив назначение начальником штаба одиннадцатой армии. Армия входила в состав Юго-Западного фронта; командовал ею генерал Гутор (Генерального штаба, командир лейб-гвардии Московского полка в 1910-12 гг., боевой командир 6-го корпуса перед назначением в 11-ую армию).

Штаб армии стоял в г. Кременце.

*) Вальтер был начальником цензурного отделения штаба Линевица в 1905 году. После войны был военным агентом в Китае. Сын его вышел из Пажеского корпуса лейб-гвардии в Егерский полк перед войной 1914 г.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 11-ой АРМИИ

Как-то, незадолго до мартовского переворота, М. П. Алексеев показал мне аттестацию, которую он дал мне и которую утвердил Гурко. Аттестации писались на всех чинов армии и представлялись в высшие инстанции. Для генералов они обозначали их дальнейший служебный путь — вверх, вниз или шаг на месте.

В заключении моей аттестации, составленной в похвальных выражениях, говорилось, что я достоин выдвижения на «должность начальника гвардейской дивизии». Меня несколько удивило тогда, почему не было сказано еще «или на старшую должность Генерального штаба». Я и сейчас не знаю, — почему, после знакомства со мной на чисто штабной почве, я рекомендовался на строевую должность. Но думаю, что Алексеев (если это была его мысль), сознательно или нечаянно, верно определил мои наклонности. Я всегда предпочитал живое дело канцелярскому: командовать, а не сочинять доклады для других; вращаться среди людей, а не среди бумаг. Начальствование штабом дивизии вылилось у меня, благодаря создавшимся условиям, в прямое командование дивизией. И я чувствовал себя дома и прекрасно! Принять теперь дивизию на законном основании, да еще гвардейскую, мне улыбалось.

Однако, вопреки аттестации, я получил не строевое назначение, а штаб армии! Это было большое повышение, так как этой должности были присвоены права командира корпуса.

Я приехал в Кременец в первых числах мая.

Уездный город Волынской губернии, сам по себе ничтожный, был живописно втиснут в расщелину между крутыми обрывами высоких холмов, напоминая со-

бою горный аул. В ближайшем соседстве высилось маленькое плоскогорье, на котором сохранились развалины замка-крепостцы 15-го или даже 14-го века. Уцелела, главным образом, башня, носившая имя какой-то легендарной польской королевы *).

Штаб армии был расположен в самом городе, в центре, в одном из казенных русских зданий.

Назначение генерала Гутора командующим 11-ой армией состоялось во время всеобщей перетасовки старшего командного состава, вероятно, в конце апреля. До него армией командовал Баланин, тот самый, который был в 1906-9 гг. генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа и о котором я имел случай говорить раньше. А до Баланина — во время майского прорыва Юго-Западного фронта — Владимир Сахаров, начальник штаба Куропаткина в период Ляоянских боев 1904 г., считавшийся автором красивого плана этого сражения (сочетание обороны с контрударом).

Начальником штаба армии до меня был генерал Юрий Романовский, Георгиевский кавалер за Порт-Артур, младше меня годом по Пажескому корпусу, потом улан Ее Величества.

Генерал-квартирмейстером состоял генерал-майор Георгий Гиссер, мой сослуживец дважды — по Главному Управлению Генерального штаба в 1910-11 гг., где он ведал скандинавским отделением (знал шведский язык), и по Академии, где одновременно со мной занял профессорскую кафедру, но по статистике.

Алексей Евгениевич Гутор представлял собою тип жизнерадостного генерала, излучавшего из себя энергию и оптимизм. Служба по Генеральному штабу не наложила на него отпечатка формализма и рассудочности. По всей вероятности, в бою он не боялся риска и способен был броситься в дело очертя голову. Вследствие этой черты характера он нырнул и в захватив-

*) В Кременце я побывал до войны, еще в 1908 году, на полевой поездке офицеров Генерального штаба Киевского военного округа. Неподалеку от Кременца, близ границы с Австро-Венгрией, находилась историческая Лавра Почаевской Божьей Матери — православная святыня среди населения с сильным католическим уклоном. С открытой террасы монастыря, расположенного высоко, открывался вид на дали уже в пределах Австрии.

шую его революцию с надеждой, что и в этих условиях можно воевать и побеждать.

К революции Гутор подходил и по своей «красной» внешности: у него было красное лицо, рыжие волосы и усы и красная форма лейб-гвардии Московского полка! Ко всему этому шел и огромный красный бант, который он носил рядом со своим Георгием и которого не стеснялся. Пылкий темперамент дополнял картину.

Но все же Гутор был прежде всего честным патриотом и солдатом. Как таковой, он считал своим ограниченным умом, что нужно сделать «тактические» уступки налетевшему шквалу, но гнуть свою линию и, в конечном результате, выиграть стратегически: победить немца, а через эту победу — и революцию.

Из старших генералов армии немногие сразу поняли, что революцию не перехитрить. Первым оказался командующий 9-й армией строгий и умный Лечицкий, немедленно после переворота подавший в отставку. Недолго применялся к революции и В. И. Гурко, у которого хватило терпения только месяца на два воевать с внутренним врагом по должности Главнокомандующего Западным фронтом.

Встретил меня Гутор приветливо, по-дружески, и я понял скоро, что с его стороны всегда найду поддержку и открытое, прямое отношение. Он не замедлил предупредить меня, что в то время как он кипит и варится в соку новоявленных солдатских комитетов и доморощенных стратегов из их среды, штаб представляет собою полусонное царство.

В последней оценке Гутор был совершенно прав. После отъезда Романовского штабом временно заправлял Гиссер, продолжая, видимо, традицию невозмутимого покоя, установившуюся в штабе армии с каких-то отдаленных или не очень отдаленных времен. Романовский с женой жили в особняке-флигеле усадьбы штаба. Гиссер с женой и чуть ли не с детьми (которых у него было много) — тоже отдельно от него, счастливою мирною жизнью. Все офицеры, у которых были жены, повыписывали их и водворили вокруг, на частных квартирах.

Отдел генерал-квартирмейстера был расположен в здании штаба тесно и неудобно. Комната оперативного

отделения на несколько часов в течение дня и на всю ночь запиралась на висячий замок. Господа офицеры или отдыхали, или кушали в эти запретные часы. Случайный посетитель в такие перерывы работы не знал, к кому обратиться, и тщетно толкался в запертые двери, в том числе и кабинета генерал-квартирмейстера.

Последний, к моему удовлетворению, не собирался остаться в этой должности при мне. Он, очевидно, рассчитывал сам занять должность начальника штаба и теперь, обиженный, объявил мне о своем отъезде в Петербург. Нужно заметить, что он был значительно старше меня по прежней службе в Генеральном штабе, в штаб-офицерских чинах.

Запущенность господствовала под управлением Гиссера не только во внешнем облике несения службы, но и по существу. Офицеры Генерального штаба были лишь поверхностно в курсе порученных им дел. Получить быстро толковую и исчерпывающую справку было невозможно.

Разница с образцовым штабом Особой армии была разительная.

Нечего и говорить, что никаких ежедневных докладов командующему армией у оперативной карты не производилось. Все носило семейный и домашний характер.

Мне сразу же пришлось наложить руку на эти порядки из «Спящей красавицы» и разорвать паутину, которая начинала обволакивать штаб, год тому назад победоносный (11-ая армия отличилась во время Брусиловского прорыва летом 1916 года).

Распечатали закрытые двери, учредили постоянное дежурство офицеров Генерального штаба. Раздвинули помещение. Сам я отказался от семейной квартиры во флигеле и приказал отвести мне пару комнат в здании штаба, рядом с помещением командующего армией. Кроме того, мне очистили тут же большой служебный кабинет, в котором я мог расположить на особом столе хорошую оперативную карту. Она отсутствовала в кабинетах Гиссера и Романовского!

Как они вели работу, — я не мог понять.

Мои нововведения были встречены молодежью Генерального штаба с молчаливою враждебностью. Я не мог счесть этих офицеров виноватыми и потому дейст-

вовал мягко. Но они уже вкусили от революции и «свобод», и вводимый мною более строгий режим казался им бесполезным измышлением и угнетением.

Офицеры, в сущности, были вконец избалованы, и следовало произвести смену некоторых из них. Но это, разумеется, было совершенно невозможно в те сумбурные времена. Мне даже не удалось получить нового генерал-квартирмейстера, и я долго совмещал эту должность со своей собственной.

Лучшими и подтянутыми оказались отделы дежурного генерала, этапный, хозяйственный и др. Во всяком случае с этими отделами постепенно наладились правильные служебные отношения.

Пока я знакомился с делом и наводил порядок в отделе генерал-квартирмейстера, бедный Гутор отражал непрерывные атаки всевозможных депутатов, комитетчиков и приезжих с тыла «товарищей» разных толков якобы для связи и помощи, но фактически для углубления развала. Иногда Гутор приглашал и меня на эти заседания. Солдаты и какие-то прапорщики заседали с удовольствием и сознанием своей силы. Вели они себя развязно с «господами генералами» (титул «Превосходительство» был отменен), разваливались на диванах и креслах, если таковые были к их услугам. Не слишком живописная группа эта всегда утопала в табачном дыму.

Но самым ужасным была безысходная глупость всех этих нескончаемых разговоров. «Товарищи» мешались решительно во все, требуя объяснений, почему такая-то дивизия стояла на позиции на два дня дольше, чем другая; почему такой-то полк переводится на другой участок; не является ли происходящая перегруппировка контрреволюцией и т. п.

На заседаниях этих встретился я с прапорщиком 13-го Финляндского стрелкового полка Крыленко, который уже успел проложить себе дорогу в председатели армейского комитета. Откровенный большевик этот энергично вел свою работу по разложению армии, действуя по указке из Петербурга от «Ильича»-Ленина. Внешность у будущего убийцы Духонина и первого большевистского «Главковерха» была невзрачная и отталкивающая, но держал он себя уверенно, вызывающе и нахально.



**Генерал-майор Б. В. Геруа в
штабе Особой армии зимой
1916-17 гг.**

Как я ни старался уклоняться от стратегических собеседований с депутатами от войск и комитетов, все же совершенно избежать этого не удавалось. Но я принял меры, чтобы мои посетители не засиживались в моем служебном кабинете. Достигнуто это было тем, что я приказал очистить комнату от стульев, оставив только свой собственный и один для очередного настоящего докладчика. Если ко мне «товарищи» являлись ватагой, я принимал их стоя, а им сидеть было не на что. Иногда я выходил навстречу к входным дверям, припирая таким образом «депутатов» к выходу. Деловые, но негостеприимные приемы эти действовали лучше, чем плакат с надписью: «не отнимайте времени попусту». Получив быстрые ответы на свои обыкновенно идиотские вопросы и не получив приглашения покурить, хотя бы стоя, депутаты, помявшись, ретировались. Но сравнение с радушием командующего армией было, очевидно, не в мою пользу.

Заметил я на опыте этих свиданий, что чем учение, высокопарнее и непонятнее были мои объяснительные речи, тем скорее «товарищи» удовлетворялись моими объяснениями.

Труднее было мое положение, когда случилось волнение в типографии штаба армии, и солдатский ее комитет потребовал меня «к ответу». Забыл точно, по какому поводу: кажется, я уволил очевидного смутьяна, наслушавшись жалоб от дежурного генерала, в отдел которого входила типография. Уволенный, разумеется, поднял бурю и организовал протест типографских рабочих. Я решил лично отправиться в львиную берлогу и приказал там собраться депутации. Последняя предполагала судить меня, но я повернул дело так, что я оказался судебным следователем, депутаты — свидетелями, а бунтовщик — обвиняемым. И этому способствовала режиссерская часть: я сидел один за отдельным столиком, а депутаты стояли на приличном расстоянии в приличных позах полукругом, — вроде хористов на сцене.

Кончилась эта история благополучно, и вышел я из львиной берлоги победителем, между шпалерами усмиренных наборщиков и метранпажей. Но, — сделай укротитель малейшую ошибку, — конец мог бы получиться другой.

Между тем мы лихорадочно готовились к наступлению. Гучков, неудавшийся Карно из промышленников, 30 апреля закатился за горизонт, и судьбы революционного военного министерства оказались врученными будущему неудачному Бонапарту из адвокатов — Керенскому. Он уже превратился в первого консула, совместив всю военную власть с должностью премьера, ответственного перед Петербургским советом рабочих и солдатских депутатов. Номинальным премьером оставался еще — до начала июля — князь Львов, но это была явная пешка, и Керенский забрал власть по всем отраслям управления в свои руки. Для фронта был торжественно провозглашен лозунг: «Война до победного конца!».

Наши близорукие союзники — французы и англичане — не оплакивали падение старого режима, к которому привыкли, в глубине сердец своих, относиться без симпатии и даже враждебно. Переворот и республика казались им посланным с неба средством упрочить военное положение на русском фронте и заставить «освобожденный» русский народ «сознательно» принести себя еще раз в жертву для выигрыша войны на французском театре.

Русская армия явно разваливалась, но Керенский решил тем не менее ответить на понукания союзников организацией большого наступления, решенного в принципе еще при Царе, в феврале. Прежде всего для этого нужно было теперь навинтить требуемую «сознательность». Считалось, и с основанием, что без этой пропаганды ни один солдат не тронулся бы с места.

Начался ораторский период войны на многострадальном русском фронте. Встарь и искони веков полководцы обращались к войскам перед сражением с поднимающим дух словом. Чем короче — тем сильнее и лучше. Но перед ними были войска, скованные дисциплиной. Весной 1917 года перед нами находились толпы недоумевавших солдат, у которых отняли все то, во что они слепо верили. Теперь требовалось не несколько сильных слов, а систематическое накачивание новых побуждений. «Защита революционных завоеваний», «свобода в опасности» и т. п. Все это было для уха простолюдина ново и жидко, для его практического ума не очень убедительно («бери землю и грабь» боль-

шевиков оказалось куда понятнее и ближе сердцу). По-
лились длиннейшие речи, в которых мелькали шаблон-
ные и пресные либеральные лозунги среди вычурной
и пустой фразеологии, призывавшей, во имя этих ло-
зунгов, снова и добровольно надеть на себя оковы дис-
циплины и проникнуться наступательным порывом.
Надо было бороться со здравым возражением солдата :
нам довольно за глаза и обороны!...

« Великая молчальница » — армия вдруг заговори-
ла, и как! Привыкшие только командовать поручики
и капитаны учились теперь искусству говорить. Когда-
то запрещаемые массовые сборища сделались ежеднев-
ным и будничным явлением. Выдвинулись ораторские
таланты во всех чинах и из среды самих солдат. Шлю-
зы были подняты, поток красноречия неся беспрепят-
ственно и разливался широко.

Нельзя было отказать в налаженности и действен-
ности предпринятой кампании « организации духа »,
как мы говорили. По позициям и в тылу армии разъез-
жали набившие себе руку, или вернее — язык, отдель-
ные уполномоченные ораторы (« оратели », по солдат-
ской терминологии) или целые группы их. Образова-
лись профессионалы — адвокаты дисциплины и насту-
пления, переезжавшие из одной армии в другую. Ча-
сто это были интеллигентные молодые люди, солдат-
ская или матросская форма которых позволяла им об-
ращаться к бывшим « нижним чинам » на братских ос-
нованиях.

Работа эта была каторжная и не всегда благодар-
ная. Едва, бывало, успевали « навинтить » какой-ни-
будь полк, как его « развинчивал » другой молодец по
указке Крыленко! В штабе армии пришлось образо-
вать особый политический отдел, который всегда был
в курсе, — на какие части можно положиться, какие
требовали только « допинга », какие — более продол-
жительного лечения. Организаторы духа появлялись
на минуту в штабе армии, узнавали очередь обработки
полков или целых дивизий и исчезали в указанном на-
правлении.

Выезжал к войскам с той же целью и командую-
щий армией в моем сопровождении. В таких случаях
собирали где-нибудь на линии резервов большой « ми-
тинг » и Гутор обращался к густой толпе солдат с на-

рочно на этот случай установленной платформы. Даром слова Гутор не отличался и, наверно, предпочел бы прогалолировать верхом перед строем войск, приказав им кричать «несмолкаемое русское ура». Он упрекал меня в том, что я не выступал на этих митингах. Я отговаривался, что все нужное сказано и что мне нечего было бы прибавить.

Невоенное зрелище это и море задранных кверху, по направлению к одной точке, солдатских голов производили на меня тяжелое впечатление. Кто мог подумать, что мы давали тогда первый урок военного воздействия на психологию масс в современных условиях при помощи платформы, словоизвержения и природной склонности толпы превращаться в слепое орудие фанатика-оратора? Через десяток лет море зачарованных голов будет — вместе с изумленной Европой — смотреть в Риме в одну точку — Муссолини. А через два, техника волшебного водительства масс с высоты платформы будет возведена в совершенство Адольфом Гитлером!

Каким бледными и неотделанными кажутся теперь те первые уроки этого искусства на полях Волыни!...

И каким мизерным «вождем» представляется сам Керенский, в свою очередь приехавший на фронт попробовать на войсках свою гипнотическую силу, в которую он верил не менее Муссолини и Гитлера. Но какая сырая, наивная и жалкая техника!

Приехал он на фронт и в 11-ую армию уже после новой перетасовки командования, в результате которой Гутор получил Юго-Западный фронт вместо Брусилова, сменившего в Ставке Алексеева на должности Верховного Главнокомандующего. Нашу армию получил генерал И. Эрдели.

О выступлении Керенского и моем знакомстве с ним я скажу позже, когда будет речь об июньской наступательной операции.

Несмотря на то, что мне пришлось работать с Гутором всего каких-нибудь две недели, всевозможного дела было так много, что его можно было бы уложить в гораздо более длинный срок; этот необыкновенно горячий период оставил поэтому яркий отпечаток в моей памяти. Налаживание штаба и его пробуждение от дремоты; подготовка оперативных соображений для назна-

ченной и близкой атаки, в которой 11-й армии отводилась ведущая роль : моя работа и за начальника штаба и за генерал-квартирмейстера; кипение в котле солдатских комитетов, резолюции и словопрения; выезды с Гутором на позиции, — кампания « организации духа »; совещания там со старшими начальниками по поводу тактических деталей и о мерах поднятия морального здоровья войсковых частей...

У Гутора были хорошие военные качества : живость, подвижность, способность принять толковое решение, уметь на нем настоять и, если надо, рискнуть. Но, как и Безобразов, он слишком легко прикладывал руку к козырьку и говорил : « Слушаю-с! ». Сказав эти полтора слова революции, он от ее руки и кончил свою военную карьеру, которой был искренно и с пониманием предан.

Хорошим военным считался, и справедливо, также Эрдели. Он начал службу лейб-гвардии в Гусарском Его Величества полку, по окончании Академии служил в штабах Петербургского округа, командовал армейским, а потом гвардейским кавалерийским полком (лейб-гвардии Драгунским), перед войной был генерал-квартирмейстером штаба Петербургского округа, а в самом начале войны на той же должности в 9-й армии Лечицкого. В 1915 г. он — начальник 14-ой кавалерийской дивизии.

После этого, предвидя, что в дальнейшем, по своей кавалерийской линии, он едва ли близко познакомится с настоящей войной во всем ее объеме, Эрдели попросил дать ему пехотную дивизию. Он принял 64-ю (второочередную), командовал ею, насколько знаю, хорошо; получил корпус и вскоре 11-ю армию.

Это был высокий, стройный, красивый мужчина, очень моложавый, с сохранившимися темными волосами на голове, аккуратно причесанными, с небольшой острой бородкой. Кроме военного дела Эрдели любил и понимал музыку. Он мог считаться выдающимся пианистом-любителем *).

*) Это помогло ему немного в эмиграции, где он оказался совершенно без средств. Сделавшись парижским « такси », Эрдели прирабатывал игрой на рояли и уроками музыки. Скончался в 1939 году.

Мне, конечно, пришлось знакомить нового командующего армией со всей обстановкой на фронте и в тылу армии. От него не укрылось неблестящее состояние вверенного мне штаба, что он высказал мне с одновременным комплиментом лично по моему адресу: « Во всем штабе, — сказал Эрдели, — только один человек находится в полном курсе дела, — это вы! ».

Между тем надо было продолжать и развивать начатую при Гуторе работу по подготовке к наступлению.

Оно было назначено на 10 июня, но потом, вследствие негативности « духа », отложено на 18-е.

Инициатива и нанесение главного удара возлагались на 11-ю и отчасти на соседнюю слева 7-ю армии (Бельковича). Направление — на Львов, причем мы своим левым флангом должны были прорываться через укрепленную позицию неприятеля, нацеливаясь на Зборов и Злочев. 7-ой армии, штаб которой ко времени боя перешел в Бучач, были указаны Бржезаны (Бережаны) как ближайший предмет действий. В дальнейшем этой армии надлежало согласовать свое движение с 11-ой армией в зависимости от достигнутого успеха и хода боя.

Удар наносился в стыке наших двух армий и против стыка двух неприятельских: 2-й австрийской (Бем-Ермоли) и германской « группы » Ботмера.

Все остальные русские армии к северу и к югу от фронта, выбранного для первоначального удара, получили выжидательные задачи — в общем, пассивные; в лучшем случае — вспомогательной атаки (8-я армия Корнилова — соседка 7-ой слева).

Нашим соседом справа, к северу от района Броды, была моя знакомая Особая, — со знакомым Балухевым. Эта армия, на участке которой приходилось много болот, получила оборонительно-наблюдательную задачу, как бы составляя опорное крыло Юго-Западного фронта, пока центр (11-я и 7-я армии) и левый фланг (8-я армия) будут заходить в охват района Львова с юга.

Это сужение района атаки и относительное безучастие всего прочего огромного русского фронта не обещало крупных результатов и объяснялось тем, что « навинчивать » наступательный дух с одинаковым успехом по всему этому фронту считалось проблемой неразрешимой. Полагали, что, если будет победа, она эхом

отдастся и в другие армии, заразит их « сознательным порывом » и даст возможность сдвинуть с места вперед и эти армии.

С другой стороны, теперь сила всего русского фронта менее чем когда-либо соответствовала его длине : число корпусов и дивизий перестало иметь определенное значение. Играло роль число надежных в смысле настроения единиц; их было менее половины, а ненадежные или сомнительные представляли собою опасный балласт, содержащий в себе взрывчатые вещества. Мерить стратегические и тактические возможности прежним масштабом было нельзя.

Командованию в этих диких условиях не оставалось ничего как представляться перед противником, что мы продолжаем быть боевой силой; стоявшие на позициях войска, внушительные в изображении карандашом на карте, являлись лишь бессильным условным знаком; в некоторых случаях, на некоторых участках, деревянные мишени были бы лучше, ибо в случае атаки противника, они не дрогнули бы и остались на месте.

Протягивая « ножки по одежке », русское командование сделало все возможное, чтобы обеспечить первоначальный успех на сравнительно узком фронте атаки. 11-ая армия получила 6 корпусов и один конный (справа налево : 1-й Туркестанский, 32-й, 5-й, 17-й, 49-й и 6-й армейские и 7-й конный); 7-я армия — 5 корпусов (41-й, 7-й, 34-й, 22-й и 3-й Кавказский); 8-я армия Корнилова, на более растянутом южном фронте, — 6 корпусов (33-й, 12-й, 16-й, 11-й, 23-й и 18-й армейские).

По-видимому, это являлось максимумом того, что активный фронт мог вместить без чрезмерного численного обнажения других фронтов. Качество упало; там, где прежде можно было положиться на один батальон, теперь ставили два; цеплялись за число, как за спасительное средство при исчезновении дисциплины и воинского духа.

Обращает внимание то, что ударная армия — 11-я — по числу корпусов только на один превосходила 7-ую и равнялась 8-ой. Равномерность этого распределения находит объяснение в том, что в руках Главнокомандующего Юго-Западным фронтом оставалось 5 корпусов (не считая еще одного конного), которыми Гу-

тор предполагал «подпереть» и развить успех на том или другом участке, — в зависимости от того, как и где этот успех сложится.

Корпуса эти были : два Гвардейских, 5-й, 25-й, 45-й армейские и 5-й конный.

Как увидим, из них было введено в дело четыре (включая гвардию), но не ранее 22 июня, когда эксплуатация победы явно опоздала.

Возникает вопрос, почему решили против стыка неприятельских армий бить тоже стыком, что раздвигало удар в направлении на одну цель — Львов. Не проще ли было отвести ударной 11-ой армии такой фронт, чтобы она своей серединой нацеливалась на участок Злочев-Бржезаны, спустив 7-ю армию несколько южнее и дав ей направление вдоль верхнего Днестра в обход Львова? При этом, бездействовавшие корпуса правого фланга 11-ой армии могли быть переданы, впереди Брод, в Особую армию, а активные правofланговые корпуса 7-й армии — в 11-ую.

Неестественность принятого решения вызвала и неуклонное облическое базирование 11-ой армии. Ядро тыловых управлений оставалось в Кременце, скорее ближе к правому флангу фронта, а собственно оперативная часть переехала перед боем в Тарнополь и Озерну, — за крайний левый фланг. Сообщения шли таким образом, в ближайшем тылу, почти параллельно фронту армии.

На перемену разграничительных линий и базирования 11-ой и 7-ой армий времени было достаточно, мы готовились к наступлению и мололи в штабных стратегических мельницах все связанные с ним вопросы целый месяц. Как увидим дальше, 11-я армия была поставлена в особо тяжелое положение, когда разразился контрудар противника, именно вследствие этих условий базирования.

Если бы неприятель тогда стал развивать свой успех не в южном направлении — на Тарнополь и еще южнее, во фланг 7-й армии, а в северном — на Броды и Кременец, положение 11-ой армии сделалось бы катастрофическим. Она могла быть разрезана на две части и отброшена от своих тылов.

Как бы то ни было, мы готовились к наступлению своим левым флангом, согласно директивам штаба

фронта (Гутор-Духонин), с чрезвычайным усердием. В тактическом отношении обдумывалась каждая мелочь.

К сожалению, у меня нет под рукой верстовой карты районов атаки, которая помогла бы припомнить некоторые характерные подробности. Без них приходится ограничиваться самыми общими чертами.

Были выбраны три предмета действий по линии неприятельской укрепленной полосы, в секторе западнее с. Озерна : на правом фланге — г. Збараж, в центре — открытое волнистое пространство, в котором по гребню высот тянулись австрийские окопы; на левом фланге — район с. Конюхи. Здесь противник укрепился по окраине деревни и по опушке леса, — за нею и в стороне. Опять надо было атаковать нелюбимый местный предмет, — лес!

На всех трех участках мы располагали довольно удобными подступами, благодаря складкам местности. Эти подступы являлись естественными ходами сообщений для маневрирования резервов. Соображения эти послужили, между прочим, к выбору фронта атаки.

Естественные подступы были усилены и искусственными окопами для резервов параллельно фронту и поперек.

Особенное внимание было обращено на разработку артиллерийского огня. Вопрос этот поручили полковнику Кирею, выдвинувшемуся по этой части с 1916 года и составившему себе прочное имя. Это был еще совсем молодой человек, артиллерист, но и с образованием Военной Академии, давшим ему широкий тактический кругозор. Он увлекался своим делом, поражал своей неутомимостью и был вездесущим. Работать с ним было очень приятно и полезно.

Кирей водил Эрдели и меня по окопам и наблюдательным пунктам, показывал противника в перископную трубу « в натуральную величину » и строил общий план артиллерийской атаки.

Проволочные заграждения, пулеметные гнезда, опорные пункты и все линии окопов неприятеля в глубину были систематически сфотографированы с воздуха, и мы имели вполне удовлетворительные планы позиций, которые предстояло разрушить и штурмовать. Позиции эти были сильны и обладали хорошим обстрелом.

Были приняты все меры, чтобы скрыть наши приготовления и обеспечить таким образом внезапность нападения.

В смысле числа сосредоточенных для атаки сил удалось достигнуть арифметического превосходства, в пехоте, вероятно, без малого вдвое *).

Но поправкой к арифметике в пользу наших противников было то, что они не справляли, как мы, праздник революции!

Для производства прорыва на выбранном участке назначили два корпуса, которые считались более надежными: 6-й, им раньше командовал Гутор, а еще раньше, в 1915 г. Гурко, и 49-й генерала Селивачева. Но по числу дивизий эти два корпуса представляли величину, превышавшую штатную силу, так как 6-й корпус получил две дополнительные дивизии и состоял из 5 дивизий вместо трех (а именно: 4-я, 16-я, 2-я Финляндская стрелковая и второочередные 151-я и 152-я). Целью такого усиления было получить в наше распоряжение больше артиллерии и резервов для развития удара. Эшелонированный в глубину на узком фронте 6-й корпус, нацеленный на Конюхи и правее, мог представить из себя достаточно веский молот.

49-й корпус, кроме своих двух Финляндских стрелковых дивизий (4 и 6-й) и 82-ой второочередной, получил отдельную бригаду, только что сформированную из чехо-словаков, в разное время передававшихся нам или взятых в плен. Бригадой командовал полковник Троянов. Чехо-словаки, державшие себя в стороне от русской революции, являлись едва ли не самой дисциплинированной частью на нашем фронте.

Таким образом, для удара было всего назначено 9 дивизий (считая крепкую «братскую» бригаду за дивизию).

Не помню, кто командовал 6-м корпусом, но командира 49-го забыть трудно. Это был генерал Селивачев.

*) Такое же примерно соотношение указывает для всех фронтов этого периода А. Керсновский в своем труде «История русской армии», ч. IV. Он считает, что у нас было 216 пех. дивизий против 132 неприятельских. Но 72 наших дивизии были без артиллерии, — следствие неудачной реформы: формирования новых дивизий из четвертых батальонов пехотных полков (поспешная реформа Гурко в конце 1916 г.).

чев, составивший себе вообще, а в те смутные дни в особенности, славу ловкого, толкового и энергичного начальника. Небольшого роста, худой, с необыкновенно длинным лицом, в усах и бороде, точно из-под кисти El Greco, и с еще более длинным лысым черепом, возвышавшимся в форме цилиндра, Селивачев обращал на себя внимание. Голова эта сослужила плохую службу Селивачеву в Академии Генерального штаба: учился он очень хорошо, а в Генеральный штаб его не выпустили. Сказали: «Нельзя с таким природным цилиндром, над которым будут шутить!».

Но под цилиндром были отличные мозги, а на войне Селивачев доказал и свою волю.

Мне пришлось встретиться с ним через три месяца в других обстоятельствах... Об этом скажу в своем месте.

Деятельность наша с начала июня вплоть до дня атаки была кипучая. Эрдели собирал в районе позиций совещания, на которые приглашались для выработки деталей и окончательной формы атаки старшие начальники, пехотные, артиллерийские, инженерные, авиационные, и их штабы. Некоторые из этих совещаний были многолюдными *).

Одновременно знакомились на местах будущей атаки с разными частностями.

Наконец, продолжалось «навинчивание» наступательного духа. В армии, по новой моде, был образован особый «ударный батальон», род гвардии, которая поставляла и «уговаривателей», проповедовавших в окопах и в резервах насущную необходимость наступления и готовилась показать и пример, если понадобится.

А за неделю до атаки прибыл на фронт 11-ой и

*) Во время одной из моих поездок в автомобиле на фронт, при проезде через Тарнополь мне представился и подошел с рапортом комендант города. Я узнал в нем давнего знакомого: это был генерал-лейтенант Карлштадт, когда-то мой воспитатель в 5-м классе Первого кадетского корпуса! Выглядел он по-прежнему молодцом. Мы крепко, по-дружески обнялись

Теперь он оказался во временном подчинении у меня!

7-ой армий и сам «Главноуговаривающий», как метко прозвали тогда Керенского.

Нужно признаться, что мы с любопытством ожидали появления революционного военного министра. До тех пор знали о нем понаслышке; помнили, что был такой депутат Государственной думы, социалист, охотно говоривший с трибуны; читали теперь его пламенные речи, которые он произносил по всякому поводу в столицах. Интересно было посмотреть на того, кто по видимому, взялся направить рвавшиеся во все стороны пары революции в военную машину и заставить вернуть ее колеса «до победного конца».

Первое посещение Керенским штаба 11-ой армии — вернее его оперативной части, выехавшей в район будущей атаки, — состоялось в какой-то случайной деревушке, в здании местной школы.

Из автомобиля с красным флажком на радиаторе выскочил небольшой человек, весь в «хаки», в кителе с рубашечным воротником, в высоких сапогах. Он, при быстром взгляде на его силуэт, напоминал управляющего господским именем во время летних выездов помещичьих угодий.

Человек подбежал неловко и с деланною уверенностью к подъезду дома, где мы его ждали, по узкому проходу, оставленному любопытными солдатами, которые собрались поглазеть на новое начальство. Если бы не однообразный желто-зеленый цвет этих импровизированных шпалер, они походили бы на добровольный почетный караул из зевак у дверей церкви в ожидании приезда невесты.

Почти стиснутый этими шпалерами у подъезда, Керенский пожал несколько солдатских рук, наудачу и к смущению удостоенных писарей и обозных, со словами: «Здравствуйте, товарищ!». Все это было необычайно и неуклюже. Несмотря на короткость первых минут первого знакомства, сразу становилось ясным, что не Керенскому повелевать парами революции, которые сами треплют его, как бессильную тряпку.

У нижней ступеньки лестницы, ведущей на балкон дома, Эрдели представился министру, представил также меня и некоторых младших чинов штаба. На балконе сели вокруг длинного стола, — Керенский, конеч-

но, во главе его. Была предложена какая-то закуска. может быть завтрак с чаем.

Мы оглядывали друг друга. Никакого доверия к нам и понимания нас не отражалось в косых, исподлобья, взглядах маленьких, бесцветных глаз Керенского. Все эти генералы и полковники были для него людьми с другой планеты. Чувствовалось, что в нашем присутствии ему не по себе и что он напряженно играет непривычную и трудную роль, которая свалилась на него неожиданно и случайно. Сон ли это или действительность? Та же мысль была и у нас.

Под маской отрывистых, резких манер и решительных слов скрывалось что-то другое; игра была не только трудная; она была двуличной.

Кстати, о маске. Где я видел точно такое лицо? Нездорово-бледное, с рыжей щеткой на голове, без бороды и усов, с крупной бородавкой? И такое выражение глаз и рта : загадочное, говорящее о тщеславии и о слабости, о зависти и мстительности, о фальши и холодности? Вообще, где я видел такую редко отталкивающую маску?

Вдруг меня осенило : Гришка Отрепьев!

Именно такое лицо смотрело на нас теперь. Нет, это не был Бонапарт!

Не будучи Бонапартом и в области военных знаний, Керенский не мог вести с нами оперативных разговоров. Он слушал доклад Эрдели с притворным вниманием, вставляя ничего не значащие « конечно », « еще бы » и т. п. Едва ли этот военный министр свободно читал военную карту. Когда перешли на вопрос о состоянии « революционной сознательности » войск, Керенский почувствовал себя дома и оживился.

На этом летучем заседании на балконе деревенской школы составили расписание, по которому Керенский будет объезжать наши резервы и накладывать последние штрихи в области подъема духа; как ни энергично велась наша армейская наступательная пропаганда, все же оставались части « под вопросительным знаком ». Нет-нет придет донесение, что вчера еще « здоровый » полк проснулся в состоянии апатии или даже поражения. Вкрапленные повсюду товарищем Крыленко большевики тоже не дремали и, где могли, заставляли солдатню выносить резолюции против наступления,

а то и против войны. Немедленно мчался туда очередной говорун-«ударник». К следующему дню та же солдатня выносила свирепую резолюцию о немедленной атаке!

Митинги для Керенского назначались большею частью под вечер, чтобы не привлекать массовыми собраниями внимания воздушной разведки неприятеля и обстрела как воздушного, так и артиллерийского, наземного.

Ни Эрдели, ни я не имели времени сопровождать министра на все эти митинги. Но на одном из них мы присутствовали.

Для собрания была выбрана обширная лужайка в какой-то котловине. Огромная толпа солдат без оружия стала толстым кольцом по краям, оставив в середине большое пустое пространство. Это напоминало цирк с его ареной.

Начинало смеркаться, когда — по расписанию, после двух или трех других митингов — подъехал автомобиль Керенского. Приняв у входа внутрь кольца нечто вроде рапорта командующего армией, министр взбежал своей всегдашней суетливой походкой на арену и остановился в ее центре. Начальствующие лица задержались в почтительном удалении.

Керенский, поздоровавшись с «товарищами» такой-то дивизии и получив еще не отмененное «здравия желаем», приказал всем сесть на землю. Солдаты, — кто сел, кто лег. Мы, начальствующие, опустились на «компромиссное» колено, как в церкви во время «вечной памяти».

Керенский остался стоять. В смутных очертаниях вечера вырисовывался силуэт господского управляющего. Речь его была громкая, трескучая и пустая. Голоса скоро не стало хватать, и Керенский начал хрипеть. Знакомые и избитые выражения революционных речей, которые мы уже читали в газетах и которые набили оскомину, все эти «солнце свободы», «пробуждение гражданского долга» и т. п. сопровождались энергичными жестами. Оратор то потрясал кулаком, то раскрывал свои объятия, время от времени поворачиваясь всем телом то в одну, то в другую сторону.

Дергающийся силуэт этот постепенно окутывался темнотой быстро наступавшей ночи. Наконец он слился

с нею. Тогда какие-то услужливые пиротехники, оказавшиеся в разных местах солдатского кольца, зажгли площадки с бенгальскими огнями. Теперь Керенский то ярко освещался зеленым, зловещим светом, то снова утопал в темноте ночи. Для полного сходства с цирком не хватало сильного луча прожектора, который мог бы взять солиста на арене в свой яркий кружок, и оркестра музыки!

По окончании митинга считалось, что министр уговорил дивизию (хотя, разумеется, здесь присутствовали только ее представители). Мы проводили Керенского в его автомобиль, а тот повез его убеждать еще одно собрание «солдат-граждан».

Нельзя не признать, что работал гражданин министр в те дни не жалея ни себя, ни своего языка.

18 июня, в хороший, жаркий день, напомнивший день атаки гвардии на Стоходе почти ровно 11 месяцев тому назад, 6-ой корпус атаковал позиции австрийцев в районе с. Конюхи. Атаку на Зборов решено было произвести 49-м корпусом на другой день, после того как внимание и резервы противника будут отвлечены южнее, к участку у Конюхов. Позиция против 49-го корпуса считалась сильнее, так как австрийцы укрепились там, между прочим, на командующей высоте «Могила».

6-ой корпус, после предварительной интенсивной артиллерийской подготовки, стройно, по плану, вышел из окопов, — как в дореволюционное время, — и вскоре овладел первой линией обороны противника. Артиллерия перенесла огонь на следующие линии, вторую и третью, а пехота затем взяла с боя и эти линии. Пройдя насквозь Конюховский лес, мы вышли на западную его опушку. Успех был повсеместный, и к вечеру корпус достиг намеченных предметов действий.

19 июня такой же блестящий успех повторился на Зборовском участке. Финляндские стрелки 4-ой дивизии произвели красивую атаку горы «Могила» и несмотря на упорное сопротивление овладели этим ключем позиции.

Вообще неприятель в оба дня боя, хоть и застиг-

нутый нами врасплох, защищал каждый шаг с большим упорством. Но в артиллерийском огне он нам явно уступал, и мы пожинали плоды отличной и гибкой организации огня полковником Киреем и другими артиллеристами армии.

Корпус Селивачева разбил 9-й австрийский корпус. Мы имели здесь дело с одной германской дивизией (223-й), одной венгерской (32-й) и одной наполовину чешской (19-й австрийской).

Корпус этот был так потрясен, что ночью его сменили германским 51-м корпусом.

Эта быстрая смена пострадавших частей свежими и более крепкими была налажена у противника хорошо и явилась одной из главных причин, почему наш первоначальный успех часто получал, при попытке развить его, своевременный отпор.

На эту тактику следовало отвечать подобными же сменами атаковавших войск, расстроенных боем, и производить немедленно повторный удар на том же участке свежими силами. Мы же обыкновенно давали первой волне передышку и затем возобновляли атаку теми же войсками. Если они натыкались на противника, оправившегося при помощи смены, развитие прорыва не удавалось.

Трофеи 11-ой армии за 18 и 19 июня были значительны: 6-й корпус взял 10 орудий и 5.000 пленных, 49-й — 15 орудий и 6.000 пленных.

Пропустив день для устройства на новой линии и введя в боевую линию свежий 17-й корпус, мы снова атаковали 22 июня, имея в виду сбить противника с его новой позиции. Но позиция эта оказалась заранее укрепленной, тыловой, и наши солдаты-товарищи уже были не те. Их хватило не надолго. Они успели израсходовать внушенный им пыл и вернулись к рассуждениям. Даже в перволинейных окопах заболтали «комитетчики». Мы де свое выполнили, чего еще нужно!

Атака 22-го имела бледный и частичный успех с захватом еще свыше 1.000 пленных и 17 офицеров.

Всего за эти три дня боев 11-я армия взяла *) : 31

*) Эти цифры приведены в упомянутом выше труде А. Керсновского «История русской армии», ч. IV (изд. 1938 г.).

орудие, 33 пулемета, 300 офицеров, 18.500 нижних чинов.

В соседней слева 7-й армии тоже был упорный и успешный бой 18 и 19 июня, в котором она прорвала фронт неприятеля у Дикого Лана и нанесла поражение 25-му германскому резервному корпусу у Бржезан. Как и у нас, в дело было введено только 3 корпуса. И, как у нас, на достигнутом первом успехе победа заглохла. Выдохся искусственно навинченный порыв — кончилось наступление...

Во время этой июньской операции штаб армии расположился к западу от Тарнополя, в м. Езерна. Отсюда, как из угла сектора легко было проехать в ту или другую точку дуги, на которой разгорались бои.

18-го числа Эрдели и я с передовым отделением связи выехали на линию резервов 6-го корпуса. Ранним утром автомобиль подвез нас к полуразрушенной деревушке, где ожидал своей очереди двинуться вперед один из батальонов. Оставив машину в складке местности, мы пешком направились по ложине к деревушке. Она была частью внизу, частью на довольно заметной горке.

Артиллерия противника обстреливала наши тылы редким огнем, точно пристреливаясь.

Увидя командующего армией, командир батальона, не старый капитан (к тому времени редко можно было увидеть батальонного командира в штаб-офицерском чине) пошел навстречу нам с рапортом.

Принимая рапорт, Эрдели заметил, что офицер был мертвенно-бледен, рука его у козырька слегка дрожала, слова были неуверенные. Эрдели это покорило. Заметил он также, что и ближайшие солдаты имели какой-то растерянный вид.

— Что с вами, капитан? — строго сказал он офицеру. — Потрудитесь взять себя в руки! Подайте команду людям, чтобы я мог с ними поздороваться!...

Капитан сейчас же «подтянулся», но доложил: за минуту перед тем упала граната в самую середину нагорной части деревни, убила и ранила несколько человек и произвела смятение среди остальных.

Мы появились как раз после этого. Впечатление не успело еще изгладиться.

Поднявшись на горку, мы действительно увидели результаты разрыва гранаты, угодившей в группу солдат. На площадке были разбросаны и еще не убраны отдельные члены разорванного на мелкие части человека. Лежало два или три тела. А прислонившись к стенке, за которой укрывалось несколько человек, сидел в естественной, живой позе, с чайной кружкой в руке, солдат... без головы.

В конце концов Эрдели переехал за центр 6-го корпуса, откуда мы и следили за ходом боя; это была какая-то небольшая высота в чистом поле. Видеть с нее много было нельзя, но быстрая связь позволяла следить за пульсом боя. Мимо проходил в передовую линию резерв, вызванный командующим армией. Эрдели приказал мне провести эту часть и указать направление, что я и исполнил.

Интереснее поместились мы в день боя 19-го. На высоте, с которой открывался широкий вид на местность у Зборова и дальше, на Злочев, стояла довольно необъяснимая башня. По лестнице можно было подняться на верхнюю площадку. Оттуда обзор был, конечно, еще шире и глубже.

В подвале башни я поместил наши телефоны, а мы с Эрдели наблюдали за ходом боя с верхушки. При этом Эрдели, чтобы видеть еще лучше, взобрался на дымовую трубу и, свесив с нее свои длинные ноги, рассматривал в бинокль происходящее впереди.

На мое приятное удивление этой способности спокойно сидеть на «тычке» и на высоте примерно 300 фут., ни за что не держась, Эрдели ответил: «Я — как кровельщик, совершенно не боюсь высоты».

Мы хорошо видели — я скромно, — с площадки, защищенной стенками по пояс, Эрдели гордо, — с печной трубы, как стрелки штурмовали гору «Могила» и радостно слышали донесенное ветром отдаленное «ура» штыковой атаки на вершину, носившую такое мрачное название. К общему нашему благополучию, противник, бросая редкие снаряды поблизости, не обстреливал башни, которую не мог не видеть хорошо. Артиллерия его слишком была занята целями в полосе самой атаки.

Не помню точно, в какой день вскоре после победы приехал Керенский объявить благодарность «революционным сознательным воинам» от имени «свободного русского народа и Временного правительства».

Было приказано собрать где-нибудь в районе позиций «депутации» от всех отличившихся полков. Мы выбрали крошечную невзрачную деревушку, запрятанную в лощинке, прикрытую холмами со всех сторон. Селение это называлось «Окоп». Керенский мог, если бы захотел, рассказывать потом, что действие происходило в окопе, и говорил бы почти правду.

Безоружные депутаты построились по полкам полукругом, лицом к автомобилю Керенского. Это уже не был строй прежнего времени. Стояли в печальном беспорядке, держались мешковато, смотрели мрачно и исподлобья.

Министр, стоя в автомобиле, произнес, вернее прокричал, свою поздравительную речь, считая и самого себя победителем и сообщив радостную весть, что таким-то полкам, наиболее отличившимся в этом первом «революционном наступлении», пожалованы, точно не припомню — не то красные знамена, не то красные ленты на знамена с соответствующей надписью.

Люди продолжали смотреть волками, ничем не обнаруживая ни интереса, ни тем менее подъема. Загадочный клубок защитного цвета!

Речь напоминала застольный тост и заключалась, как полагается, казенным «ура».

После этого Керенский удостоил благодарственным рукопожатием Эрдели и меня, а первого (пошептавшись со своим начальником походной канцелярии) поздравил с производством в полные генералы.

Церемония кончилась. Министр вышел из автомобиля-трибуны и предложил солдатам доложить ему об их нуждах. Строй, и без того мало на него походивший, превратился в откровенную толпу. Керенского тесно обступила кучка солдат.

Один из них, смелый и развязный, немедленно приступил к изложению «нужд».

Они сводились к тому, что «мы де свое дело сделали» и что пора части сменить и отвести в тыл.

Керенский, только что с кафедры призывавший к продолжению героического натиска сознательной рус-

ской армии на врага во имя защиты «горячо любимой родины и завоеванных свобод», вступил с этим представителем того и другого в полемику. Диалектическая борьба оказалась неравной. Адвокатская логика и казуистика разбивалась об упрямые заявления депутата, как о стену, что «повоевали и хватит! Другие-то ничего не делали!» Окружающие братцы, теперь-«товарищи», одобрительно побрякивали и вставляли свое: «Верно, господин министр, что и говорить».

Господин министр попробовал переменить тему. Не тут-то было! Посыпались со всех сторон самые неожиданные вопросы, требования, жалобы... Разговор вступал в фазу «стрижено-брито» и «заладила сорока Якова».

Кое-как смяв эту словесную канитель в неуклюжую резолюцию, «что начальство все это разберет», Керенский наконец вырвался из солдатского кольца, которое росло и напирало.

Отбыл куда-то министр со своими приближенными. Поехали обратно в Езерну и мы с Эрдели. Сев в автомобиль, Эрдели рассмеялся и сказал: «Нечего сказать, хороши и мы с вами: не потрудились надеть оружие для встречи военного министра!» Действительно, только тут я заметил, что мы оба были без шашек.

Хорошо, что противник не пролетал над с. Окоп и над митингом 11-ой армии в тот чудный летний день. Не только заманчиво было бы бросить сверху бомбу в эту гущу, но возможно было дать знать и артиллерии. Деревушка отстояла от передовой линии всего верстах в трех и могла быть легко обстреляна. Упади там один снаряд, — что бы это было!

Впоследствии выяснилось, что главным говоруном на памятном благодарственном митинге, говорившим от имени доблестных полков июньского наступления, был какой-то тыловой писарь.

По возвращении в штаб я был тронут заботливым вниманием моего денщика Федора Божко: он приготовил мне генерал-лейтенантские погоны. И был искренно огорчен, когда пришлось их спрятать!

Заслужил ли я третью звездочку? Не знаю. Знаю только, что с оперативной точки зрения атака 18-19 июня, предпоследняя заметная победа старой русской

армии*), удалась без единой осечки и что мое личное участие в плане ее и в деталях исполнения (согласование, связь) выразилось в процентах, превышавших 50. Припомним, что у меня все еще не было и генерал-квартирмейстера!

По-видимому, так это и оценил мой милый Федор Божко, независимо от простительного пристрастия.

После вялого боя 22 июня становилось ясно, что должны быть приняты более решительные меры для возвращения прежней боеспособности войск и что на одном уговаривании далеко не уедешь.

23 июня (хорошо помню эту дату) я составил на эту тему телеграмму в штаб фронта. В ней обрисовывалась реакция, наступившая в полках сразу после израсходования заряда нравственного «допинга», и указывалось на те трудности, с которыми придется встретиться командованию впредь в этих ненормальных условиях. Телеграмма была в одну страничку, но выражения — определенные и прямолинейные. В сущности, мы расписывались в своем бессилии и предупреждали старшее командование, чтобы оно не питало излишних иллюзий насчет дальнейшего «блеска». Эрдели подписал, не внося в редакцию никаких изменений. Телеграмма пошла.

На другой день внезапно в штаб приехали Гутор с Духониным. Входя в комнату, Гутор с укоризной сказал мне: «Зачем, зачем послали вы такую телеграмму?!» Оказывается она была получена, когда в штабе фронта находился Керенский. Наступление 18-19 июня он считал своим детищем; оно, в параллель с прошлогодним наступлением Брусилова, даже было окрещено именем Керенского. Свободная армия показала себя настоящими сынами отечества! И вдруг находятся малодушные генералы, которые отрицают это!

Гутор, по-прежнему оптимист и узкий солдат, приехал, очевидно, нас подбодрить. Справимся со всеми затруднениями, снова атакуем... И назначил даже число — 30 июня. Предполагалась атака всем фронтом.

Но не в одной 11-й армии шли в войсках митинги. Явление это с удвоенною пышностью расцвело повсю-

*) Последней явилось успешное наступление (тоже короткое) 8-ой армии Корнилова в Буковине через неделю, 27 июня.

ду. Психология тылового писаря, препиравшегося с Керенским в Окопе, одолевала.

Надо было сызнова «навинчивать» полки; дело шло хуже и медленнее, чем в первый раз. Пришлось отложить наступление на середину июля.

11-я армия была усилена двумя корпусами — 25-м и 45-м (6 дивизий).

Но, как узнали мы гораздо позже, после войны, и противник против нас получил подкрепление в 5 дивизий 3-го и 10-го корпусов, переброшенных с французского фронта. Там все было спокойно, а наша атака оказалась достаточно — и неожиданно — тревожной. Нужно было предупредить повторение и помочь ходу русской революции.

Между тем она углублялась теперь на фронте и без помощи немцев. Как только часть попадала в резерв, на нее набрасывались вкрапленные в тыл армий агитаторы, большевики и полубольшевики, и через день-другой в этой части начиналось брожение. Число «заболевших» полков и целых дивизий росло. Нашей контрагитации уже не хватало. Бунтовщики, вооруженные и с пулеметами, занимали в тылу позиции и окапывались. Против этих укрепленных лагерей приходилось высылать «ударные батальоны» или кавалерию, которая, к счастью, не поддавалась пропаганде. Надежными также оставались артиллеристы.

В тылу разыгрывались, таким образом, междоусобные маневры и даже маленькие бои с боевыми патронами. Бунтовавшая часть окружалась; высылали переговорщиков; брали людей в полон и разоружали. Из офицеров в таких полках и батальонах заодно с мятежниками оставались только единицы, — революционные карьеристы.

Самым ярким примером такого карьериста был штабс-капитан лейб-гвардии Гренадерского полка Дзевалтовский. Кадровый офицер этот, с очевидною польскою кровью, прогремел как неукротимый председатель солдатского полкового комитета, ставшего на «платформу» мирного и сытного существования в тылу, без начальства и без боевых тревог. Разбойничья банда эта выгнала всех офицеров с командиром полка во главе, и в один прекрасный день мы нашли их в са-

ду главной квартиры 11-й армии расположившимися живописным лагерем под кущами деревьев.

Как раз в это время (начало июля) нам был передан, ввиду предстоявшего наступления, 1-й Гвардейский корпус, и его части квартировали в тылу армии между Езерной и Тарнополем. Изгнанники-офицеры лейб-гвардии Гренадерского полка и явились, на законном основании, под крыло штаба 11-ой армии.

Понадобилось снарядить « карательную экспедицию », чтобы покорить отложившихся Лейб-Гренадер и арестовать их атамана.

К счастью, полки родной 1-ой гвардейской дивизии удерживались от развала успешнее; нечего и говорить, каких усилий это стоило кадровому офицерскому составу. Старых офицеров оставалось мало, а среди нового поколения « прапорщиков » было достаточно зыбких натур, поддавшихся революционному угару. Помню, как-то в Кременец приехал ко мне один такой прапорщик-Измайловец из Петербурга. В мое командование это был довольно расторопный унтер-офицер — конный разведчик, в котором трудно было угадать будущего демагога! Теперь он держал себя со мной « на равной ноге » и развязно пытался поучать, как и что нужно делать. Но он не принес непосредственного вреда полку, так как отделился от него и « работал » на стороне. Отделился, впрочем, не совсем по своей воле. От него удачно отделалось начальство.

Несмотря на заколдованный круг, в котором приходилось вращаться армии, она все же продолжала деятельно готовиться к тому, чтобы вырваться из этого круга и снова атаковать противника. Стратегическая цель оставалась той же : помочь союзникам!

Великодушие это, в условиях, когда мы не знали, как помочь самим себе, поощрялось военными представителями союзных армий. В штаб 11-ой — ударной — армии наезжали французские, английские, румынские и итальянские генералы и офицеры. Они « бодро смотрели вперед » и уверяли нас, что еще одна решительная победа, и российская новорожденная республика станет на ноги! Итак, не задумывайтесь и идите на штурм!

Во время знаменитого митинга с Керенским после победы 18-19 июня мне случилось, между прочим, сто-

ять рядом с капитаном французского Генерального штаба Н.

« Ah! — говорил он мне утешительно, смотря на вялую и критическую толпу людей в защитных рубашках, — *Ça ne fait rien!* Наш француз-республиканец тоже много и долго ворчит перед наступлением. Мы же не пойдем и т. п. Но ударит час — и нет на свете лучшего солдата при атаке! *Mais oui, ce sont des grognards historiques!* Вы увидите, что то же самое будет у вас ».

Подхлестывая русских республиканцев, все эти иностранные офицеры отнимали у штабов время, требуя разные сведения и всевозможные справки.

Однажды был набег на штаб армии целого букета генералов и Эрдели поручил мне сделать им доклад о наших планах. Я проклинал эту лекцию, так как нужно было говорить по-французски!

Приготовления наши были прерваны внезапным переходом в наступление австро-германцев. Получив вовремя, как раз в период митингов конца июня, в подкрепление те 5 дивизий, о которых было сказано выше, неприятель образовал особый Злочевский отряд генерала Винклера *). Ему было дано направление на Злочев-Тарнополь. Всеми войсками на фронте против 11-й армии командовал принц Леопольд Баварский, и ударная группа, нацеленная на наш левый фланг, состояла почти исключительно из германцев: 11 дивизий из 12.

Дивизий в нашей армии ко времени июльских боев было, казалось, более чем достаточно. Мы имели 9 корпусов в боевой линии (считая с одним конным) и один корпус (45-й) в резерве. Но оголить оборонительный правый фланг опасались. Он прикрывал наши сообщения, шедшие от Кременца. Ослабить наши силы там значило пригласить неприятеля к себе в гости и подвергнуть армию большой опасности.

Наша группировка, в целом, была не оборонительной, а наступательной. Главные силы, 5 корпусов, были собраны на нашем левом фланге для атаки, в то время как остальные должны были вначале удерживать свои позиции. Думаю, что арифметически мы превосходили на своем активном крыле силы противника.

*) Эти подробности стали известными, конечно, уже после войны. Я пользуюсь трудом А. Керсновского.

Однако последний выставил здесь свои лучшие войска, а наши были уже далеко не те героические и стойкие полки, которые год тому назад дали Брусилову громкую победу. Очень далеко!

Болезнь духа не вознаграждалась и улучшениями материального порядка. Несмотря на то, что многое в этой области если не исправилось, то поправилось, все же мы по-прежнему уступали противнику в артиллерии и не сравнялись с ним даже приблизительно в авиации. Такой пустяк, как стальной шлем для нашего многострадального пехотника, только теперь появился на фронте в ничтожном числе и рассматривался с любопытством, как диковинная новинка. Недостаточно мы были снабжены и противогазами, хотя занимались этим уже год. Не уверен, например, был ли у меня самого противогаз. А если был, то хранился и пылился где-то вдали. Вообще к этому вопросу относились легче, чем следовало.

Шансы предстоявшей схватки были неравны, — и не в нашу пользу.

На рассвете 6-го июля противник обрушился сосредоточенным и интенсивным огнем многих батарей на участок второочередной дивизии (152-й?), занимавшей позицию несколько севернее направления Злочев-Езерна. Скоро сделалось ясным, что это подготовка к серьезной атаке и преддверие к широкой наступательной операции. Ослабленные революционным режимом резервисты и, частью, необстрелянная молодежь с трудом выдерживали этот огонь, а вскоре откровенно дрогнули, когда к обыкновенным снарядам прибавились газовые, окутавшие окопы ядовитым дымом. Один полк очистил свою позицию и в беспорядке отошел, вернее, рассеялся в тылах. Воспользовавшись этой «калиткой», открывшейся во фронте дивизии, немцы вошли в открытый промежуток, охватили два соседних внутренних фланга. В течение какого-нибудь часа — двух обозначился прорыв на участке всей дивизии. Она отходила под давлением.

Брошенные на помощь резервы, корпусные, а потом и армейские, не смогли восстановить положение.

Они быстро вовлекались в отступление, которое неудержимо расширялось и превращалось в стихийное. Противник перенес огонь на тылы и на подходившие резервы. Пехота наша, утратившая свою традиционную стойкость, оказалась неспособной ни на контрудар, ни на импровизацию обороны в ближайшем тылу, чтобы затянуть прорыв. Только превосходные действия нашей артиллерии сдерживали натиск преследовавшего противника. Воздушные его силы содействовали пехоте бомбардировкой наших батарей и отступавших, расстроенных частей. В нашем распоряжении, как всегда, было ничтожное число эскадрилий.

Наступило время, когда и артиллерия обороны вынуждена была сократить своей огонь. Батареи, угрожаемые с фронта и флангов наступающим повсюду противником, одна за другой начали сниматься с позиций и переезжать на новые в более глубоком тылу.

События развивались с непрерывною быстротой. Штаб армии в Езерне постепенно становился ближе и ближе к полю сражения, которое надвигалось на нас.

Пришлось отдать распоряжение о переходе штаба армии в Тарнополь, — с наступлением темноты. Еще раньше мною была принята «по секрету» мера предосторожности для отвода в район Тарнополя и к востоку от него всех обозов и поездов со снарядами и продовольствием.

Благодаря этой мере, мы после отхода за Езерну почти ничего не потеряли из наших передовых армейских запасов.

К 7 июля положение на фронте 11-й армии было таково: географически, только на южной трети этого фронта шли решающие бои и здесь мы были потеснены в общем направлении на Тарнополь. На остальных двух третях противник проявлял себя слабо, и мы удерживали свои позиции. Но в отношении сил, в отступление было вовлечено на сравнительно узком участке больше половины корпусов, причем нажим неприятеля распространялся постепенно с севера на юг. Сначала подался назад 25-й корпус, за ним 17-й. Далее, соседний 49-й перешел в контратаку (западнее с. Перепельники), стараясь охватить фланг прорвавшегося неприятеля. Но эта атака только задержала не надолго

его распространение, и корпусу Селивачева пришлось тоже отходить.

Та же участь постигла корпуса крайнего левого фланга армии — 1-й Гвардейский и 5-й. Последний находился в стыке с 7-й армией. 7 июля немцы особенно нажали в этом месте, имея в виду врезаться между двумя армиями.

7-я армия, в свою очередь потесненная на своем правом фланге превосходными силами, начала общий отход.

Командование 11-й армии отдало 8 июля приказ об отводе своего левого фланга на тыловые рубежи впереди Тарнополя. Происходил большой загиб этого фланга, в то время как центр и правый фланг армии, в общем, удерживали свои позиции.

С одной стороны, нужно было взять отступление в руки и упорядочить его в наших целях (удержание района Тарнополя); с другой, бороться с шаткостью тылов, обычною в такой быстро текущей и неблагоприятной обстановке. В тыл хлынули беглецы с фронта и своими преувеличенными, паническими рассказами о то что «все пропало», побуждали чуткие обозы и конные транспорты той эпохи скакать без оглядки на восток. Чтобы остановить и предупредить эту скачку, понадобилось послать на дороги в тылу энергичных офицеров и «ударников». Вооруженные нагайками, они навели порядок в обозах и перехватили в дни 9-11 июля тысячи «сознательных защитников завоеванных свобод», уходивших с фронта и сеявших в тылу панику.

Отход войск левого фланга совершался все же в рамках внешнего военного приличия, почему мы смели рассчитывать и рассчитывали отразить наседавшего противника на позициях к западу от Тарнополя. Здесь 11-12 июля отличилась — в последний раз — Петровская бригада 1-ой гвардейской пехотной дивизии, полки Преображенский и Семеновский, успешно отразив атаку прусской гвардии с переходом в контратаку. Это было последним боевым напряжением русской гвардии, последним усилием офицеров и унтер-офицеров, превозмогших революционную расслабленность солдатской массы...

Но этот частный успех не послужил на пользу об-

щему положению. Злочевская группа Винклера, прорвав фронт 11-й армии и отбросив ее левый фланг к Тарнополю, круто повернула на юг, выходя в тыл 7-й армии.

Связь с ней повисла на волоске и был день (вероятно, 9 июля), когда мы могли только приблизительно знать о положении 7-й армии. Проволочная связь прервалась. Пришлось послать конные части и специальные разъезды, чтобы найти штабы ближайших корпусов этой армии и ее штаб. К счастью, через несколько часов удалось определить их места и направления отхода; но, к несчастью, последние отрывались от нашего левого фланга! Две соседние армии, вследствие неудачного базирования, отступали на свои тылы в расходящихся направлениях.

Как ни велико было поражение, все же оно не превратилось в полную катастрофу, благодаря отчасти принятию командованием быстрых мер, отчасти потому, что противник, перемещая свой нажим все более и более к югу, позволил 11-й и 7-й армиям оправиться и зацепиться за новый рубеж к востоку от Тарнополя.

В конце концов, к середине июля, после недели тревожных боев, мы остановились на меридиане р. Збруч, нашей прежней государственной границы.

В период с 19 июля по 9 августа тяжесть боев перемещалась все более и более на юг, в Буковину и на румынский фронт, причем наши армии там вели успешные арьергардные бои и даже переходили в энергичное контрнаступление, забирая трофеи и пленных. Казалось, что чем дальше были войска от столиц и прямой с ними связи, тем стойче они оборонялись и тем больше сохраняли наступательный дух. Эти «старорежимные» бои левого фланга Юго-Западного фронта вынудили германско-австрийское командование дать, наконец, отбой. Правофланговые корпуса 11-й армии к концу всей этой операции оставались примерно на своих старых местах (район г. Броды и г. Дубно), как бы составляя ось отступления.

Неудивительно было то, что случилось на Юго-Западном фронте в результате первого решительного наступления противника в ответ на вызов русской армии, перестроенной на новых, революционных началах. Удивительно было то, что военное наше поражение не

приняло больших размеров и что нам удалось показать неприятелю фасад, напоминавший прежнюю русскую армию, с которой нельзя было не считаться. Что крылось за этим фасадом, — другой вопрос!

Даже в смысле глубины уступленной нами территории, около 100 километров, это оказалось меньше, чем уступили нам австрийцы на Волыни и в Подолии год тому назад. И в австрийской армии того времени не было ни революции, ни комитетов, ни солдатских резолюций!

Стоит отметить, что ко дню атаки на наш внешний фронт под Тарнополем, 6 июля, большевики точно нарочно подогнали атаку нашего внутреннего, — в Петербурге. Восстание сорвалось, но послужило хорошей репетицией и смотром сил, которые решительно восторжествуют через четыре месяца.

Гораздо более Юго-Западного фронта был потрясен сам Керенский, которого едва успели провозгласить организатором победы в Петербурге, как эти лавры рассыпались в труху.

Виновниками были, разумеется, объявлены генералы. Начались смещения и перетасовки. Уже 8 июля Гутор был уволен и Главнокомандующим Юго-Западного фронта назначен из 8-й армии генерал Корнилов. 10-го или 11-го Эрдели и Балувев перемещены один на место другого. Командующий 7-й армии Белькович заменен Селивачевым.

Штаб 11-й армии находился в Тарнополе с 7 июля дня три, после чего вернулся в Кременец. Сюда, вечером 10 июля, когда войска левого крыла армии отошли на линию р. Стрыпы, приехал из Особой армии Балувев. Вторично я оказался у него в ближайшем подчинении. Он привез с собою Н. В. Соллогуба, моего способного помощника в штабе Особой армии. Оба они немедленно выехали на фронт, на наиболее запутанный его участок, чтобы разобраться на месте в обстановке. На другой день, 12 июля, Балувев, в ужасе от виденных им условий и отношений в войсках, составил и послал энергичную телеграмму, по команде и прямо-военному министру.

Копия этой длинной, в две страницы, телеграммы случайно у меня сохранилась. Я не привожу ее, так как в ней говорилось то, на что не раз уже мною указыва-

лось в этой главе по вопросу о безобразном духовном состоянии войск. В заключение, Балугев не предлагал, а требовал единственно возможного средства: восстановления дисциплины, введения полевых судов за ее нарушение и прекращения какой бы то ни было политической пропаганды в армии. О том же доносил Эрдели Гутору еще 23 июня, до неприятельского контрудара, только теперь раскрывшего глаза революционным оптимистам на невозможность одновременно митинговать и успешно воевать.

После 12 июля фронт 11-ой армии начал упрочиваться; противник удовлетворился достигнутым.

Керенский, ставший с начала июля официально премьером в кабинете Временного правительства, вдруг и сам поверил в необходимость вернуться к старым военным порядкам. Все указывали на волю и твердость Корнилова. Он и был назначен 19 июля Главнокомандующим вместо Брусилова, слишком долго старавшегося «идти в ногу» с революцией.

Это вызвало другие перемещения. Деникин с Западного фронта был переведен, со всем штабом, на Юго-Западный, а на его место назначен Балугев, получив в подчинение целиком штаб Юго-Западного фронта, который должен был из Бердичева переехать в Минск *).

Чем было объяснить эту пересадку штабов? Последствия позволяют думать, что Корнилов возлагал известные надежды на Деникина, а тот отказывался работать в этом направлении с чужим штабом.

Таким образом, я прослужил в 11-й армии с Балугевым всего недели две. На его место в первых числах августа был назначен командир 7-го кавалерийского корпуса генерал Федор Федорович Рерберг — брат Петра Федоровича, бывшего начальником штаба 10-го корпуса, когда я командовал в Галиции в рядах этого корпуса Козловским полком.

*) Балугев, до пересадки штабов двух фронтов, был сначала назначен Главнокомандующим Юго-Западного фронта. Пересадка состоялась 2. августа.

Одновременно с наступавшим постепенно боевым затишьем на фронте стало сказываться вступление в главное командование Корнилова, решительные меры которого постепенно установили в войсках политическое затишье. Керенский был вынужден пойти на уступки, восстанавливавшие власть военных начальников, а заменивший его на должности военного министра террорист и убийца Борис Савинков*) приезжал на фронт, чтобы поддавать в этом контрреволюционном смысле «перцу» старшему командному составу; последний поощрялся в области мероприятий по насаждению дисциплины и подавлению комитетов. Они вскоре явились почти единственным воспоминанием о революционной организации; на отмену комитетов вожди не рискнули, но значение их резко упало, а перевыборы превратили их в послушные органы военного управления.

Введение полевых судов и несколько смертных приговоров действовали на солдатскую массу мгновенно и лучше, чем уговоры и длинные разъяснения. Быстрота, с которой совершилась перемена, казалась волшебной. Через какие-нибудь 2-3 недели армию нельзя было узнать. Командный состав вздохнул свободно и мог начать продуктивно работать над приведением в привычный внутренний порядок вверенных ему частей.

В начале августа на Юго-Западном фронте были произведены некоторые перегруппировки. 11-я армия получила участок примерно между двумя станциями, граничившими с Австро-Венгрией до войны — Радзивиловым и Волочиским. Штаб армии был переведен из флангового Кременца за середину фронта армии, в Старо-Константинов. В этом своем положении армия непосредственно прикрывала Бердичев, где находился

*) Убивал чужими руками, оставаясь в качестве организатора в тени. Его жертвой был Великий Князь Сергей Александрович, убитый бомбой в Москве в феврале 1905 г. Савинков обладал легким литературным пером и сам описал свою террористическую деятельность. По его приличной наружности никак нельзя было догадаться о его специальности. Его можно было принять за чисто выбритого и хорошо одетого английского джентльмена поджарого типа, но глаза у него были холодные, стальные.

по-прежнему штаб фронта; штаб армии был расположен теперь на прямой линии между серединой армейских позиций и главной квартирой Деникина, нового Главнокомандующего фронтом.

В Старо-Константинове нам отвели широкий квартал каких-то казенных домов и барачков вне города, примерно в версте от него. Здесь был оазис зелени среди плоских, голых и пыльных окрестностей. Устроились штабные учреждения, личный состав и наши лошади с большим удобством. Я помещался в просторном одноэтажном деревянном доме вместе с командующим армией, причем служебными кабинетами нам служили два соседних зала., каждый в несколько окон. Я имел возможность устроить у себя, на козлах, нечто вроде помоста и разложить на нем огромную оперативную карту крупного масштаба.

Но ни к каким новым операциям против внешнего врага мы уже не готовились. Карта служила больше для составления исторических описаний того, что мы пережили в июне и июле, в ответ на запросы сверху, где искали «стрелочника».

В Старо-Константинов прибыл, наконец, ко мне генерал-квартирмейстер, хотя и в полковничьем чине. Мне удалось получить на эту должность моего старого и способного помощника — Н. В. Соллогуба.

Он перевел за собой из Особой армии хорошо известных мне молодых офицеров оперативного отделения. С их приездом наладилась в отделе генерал-квартирмейстера знакомая, деловая и спокойная атмосфера.

Удобно и приятно было работать и с ровным Ф. Ф. Рербергом. Удалось включить в штаб армии одного Измайловца (В. Б. Фомина) и одного Лейб-Егеря, В. А. Каменского, адъютантом ко мне; симпатичный и толковый офицер этот состоял в первом батальоне лейб-гвардии Егерского полка летом 1913 г., когда я командовал батальоном.

К сожалению, этому благополучию — вверх и вниз — не было суждено принести какие-либо плоды. Наступившее спокойствие оказалось затишьем перед внутренней бурей.

Создавшееся в августе разделение власти в ново-рожденном новом и все еще безымянном государственном устройстве между Керенским и Корниловым не обещало успеха. По мере того как Корнилов забирал в свои твердые руки фронт, то есть почти все мужское население России, способное владеть оружием, Керенский начинал чувствовать, что его роль как главы правительства подходит к концу. Этот самодовольный революционный карьерист, которого взмыл наверх случай, — мартовский сумбур, успел испить из сладкой чаши власти и опьянеть. Он не желал теперь отступить в тень и оказаться в положении номинального и беспомощного демократического вождя. Успел он также искренно поверить в свои таланты, чары и в свою светлую звезду.

До его ушей не достигла расценка этих талантов, сделанная остряками, никогда не иссякающими на Руси: « на безрыбье и рак — рыба; на безлюдье и Керенский — человек ».

Каждый день дальнейшего оздоровления армии означал, с одной стороны, усиление военного вождя, — Корнилова; с другой, — утечку престижа и « обаяния » товарища Александра Федоровича.

Между тем и Корнилов на мог остановиться где-то на полдороге к диктатуре. Если Россия желала продолжать войну, рассуждал этот угрюмый и прямой казак, она должна проявить железную дисциплину не только в армии, на самом фронте, но и во всем огромном тылу его. Корнилов требовал от Керенского подчинения ему всех железных дорог и заводов. Только единая военная власть способна была подтянуть этот расхлябанный революцией тыл, в сущности, всю страну.

Подписать под таким законом значило для Керенского подписать себе отставку. Он тянул дело. Это не было ни « да », ни « нет ».

Корнилову скоро стало ясно, что от премьера с его окружением не дожидаться поддержки и либо надо кончать войну, либо свергнуть петербургскую верхушку, подлаживающуюся под полубольшевистский Совет солдатских и рабочих депутатов, все еще заседающий и разговаривающий.

Теоретически совершение переворота могло казаться-

ся легким. В самом деле, после того как миллионы штыков на фронте снова сделались послушными, что стоило повернуть кругом небольшую их часть, захватить власть в столицах, арестовать правительство и объявить военную диктатуру?

На практике, однако, дело обстояло гораздо сложнее.

Ближайшими к Петербургу и Москве войсками были армии Северного и Западного фронтов. Командовали ими — бессцветный канцелярист Клембовский *) и готовый играть на популярность у низов Балувев **). Оздоровление войск на этих фронтах распространялось медленнее, чем это происходило на южных фронтах, к югу от Припяти.

Так, 19-21 августа немцы, дав нам передышку в 10 дней, перенесли резервы и удар на противоположный фланг, под Ригу, и с чрезвычайною легкостью овладели ею. Наша 12-я армия оказала бессвязное и случайное противодействие; большинство дивизий дрогнуло, бросившись в тыл почти без оглядки, потеряв до 9 тысяч пленными и оставив противнику свыше 200 орудий.

Это было повторение июльских Тарнопольских погромов. Но тогда офицерство еще было бессильно, а митинги процветали. Официально эти условия в августе исчезли, но Северный фронт, очевидно, не сумел еще с успехом воспользоваться правами, предоставленными военному командованию.

Таким образом становится понятным, почему Корнилов решил в случае надобности опереться на более удаленный Юго-Западный фронт. Он знал его ближе и больше ему верил. Вся его боевая героическая служба во время войны прошла в войсках этого фронта, наиболее счастливого в смысле победоносности. Здесь Корнилов командовал дивизией, корпусом, армией, фронтом. Здесь сказались на его глазах первые положительные результаты восстановления дисциплины и правильных командных отношений.

*) Бывший Измайловец. В период Луцкого и Ковельского боев 1916 г. начальник штаба Юго-Западного фронта у Брусиллова.

**) Даже в своей решительной телеграмме от 12 июля Балувев требовал полной власти военным начальникам во имя «демократических свобод».

Сюда, наконец, в предвидении необходимости использовать фронт в целях политических, Корнилов перевел, как было отмечено выше, Деникина со всем его штабом еще в начале августа. Деникина он знал едва ли не с русско-японской войны и справедливо считал, что на этого человека можно положиться.

В какой мере вопрос надежности лиц и войск стоял на первом месте в планах Корнилова показывает, что единственной частью, двинутой им на Петербург в конце августа, был 3-й конный корпус генерала Крымова, снятый с самого удаленного румынского фронта! Дело было в том, что Крымов*) пользовался репутацией твердого и прямолинейного начальника. Корпус начали пододвигать издали заблаговременно, с невинным видом, под предлогом вывода в стратегический резерв. Понадобились и особые секретные предосторожности и большое время. Между тем под рукой, вблизи Петербурга, на Северном фронте имелось несколько конных дивизий.

Во второй половине августа ко мне приехал из штаба Деникина офицер Генерального штаба с конфиденциальным поручением нащупать почву, — готов ли я включиться в работу по скрытой подготовке к задуманному перевороту в пользу военной диктатуры. Также, есть ли у меня люди, которые могли бы при этом помогать в штабе и в войсках, и верность которых была бы вне сомнения. Я сейчас же посвятил в дело Н. В. Соллогуба. Мы оба выразили свое согласие. Начальником штаба у Деникина был хорошо знавший меня генерал С. Л. Марков. Я трижды был его близким сослуживцем в период 1901-1914 гг. С самим Деникиным у меня было, если можно так выразиться, только шапочное знакомство. Лично он меня не знал.

Соллогуб, со своей стороны, привлек в конспирацию своих верных спутников со времени штаба войск гвардии и Особой армии, четырех офицеров, переведенных теперь в штаб 11-ой армии.

Мы завязали небольшие ячейки в ближайших войсках и ждали указаний из штаба фронта. Таковых бы-

*) Я лично знал его по войне 1904-5 гг. Он уже тогда, в чине капитана Генерального штаба, выделялся в штабе 4-го Сибирского корпуса как храбрый и дельный офицер.

ло мало. Можно подозревать, что все мы, начиная с Корнилова, в заговорщики не годились и что весь этот вопрос о предстоявшем выступлении Корнилова находился до конца в весьма сыром и неразработанном виде.

Но пока мы секретничали и шептались, внезапно, 27-28 августа, с оглушительным громом раздались две радиogramмы, одна за другой, по адресу «всем, всем, всем».

В первой Керенский объявлял Корнилова «изменником» и смешал его с верховного командования, а во второй — Корнилов, отвечая, отказывался сдать это командование и обзывал Керенского и Ко «немецкими наемниками».

3-й конный корпус до Петербурга не дошел, застряв в его окрестностях и повторив то, что случилось шесть месяцев тому назад с отрядом генерала Иванова, посланным усмирять столицу. Она обладала какими-то магическими токами, которые парализовали наступавшую вооруженную силу на самом пороге города. Конники Корнилова, как и Георгиевские кавалеры Иванова, шедшие, по-видимому, с самыми решительными намерениями, затем, оправившись от паралича, рассеялись, потеряв интерес, исчезли...

Крымов отправился в Зимний Дворец разговаривать с Керенским и не вернулся к своему корпусу. По официальным данным он застрелился. Но только Керенский мог бы пролить свет на этот вопрос, оставшийся темным *).

Едва ли можно сомневаться в том, что отступившие временно на задний план революционные друзья Керенского в Могилеве и на фронте разгадали нехитрую игру Корнилова и донесли о ней в Петербург. Керенский решил первым перейти в наступление и сорвать этот план. Применяв провокацию, он достиг своей цели. Искушенный интриган легко побил неопытного в подвигах и политически неуклюжего генерала.

Храбрый и честный воин, горячий патриот, Корнилов понимал только прямые пути и бескорыстные побуждения. Став на скользкую дорогу совершения пере-

*) Корнилов получил предсмертное письмо от Крымова, но никому его не показал и не сообщил содержания.

ворота в случае дальнейшего упрямства Керенского, он все же до последней минуты рассчитывал встретить и у противника те же чистый патриотизм и отсутствие личных честолюбивых стремлений. Наивность эта погубила *coup d'état*, который один только мог спасти Россию от надвигавшихся на нее бесчестия и унижений. И, будь на месте Корнилова авантюрист типа Савинкова или фанатик и реалист типа Гарибальди, переворот мог бы удался в 24 часа.

Свою неспособность «фехтовать в тесте», — по меткому выражению Бронштейна-Троцкого о февральских попытках усмирения, — Корнилов доказал уже однажды, когда был назначен командовать войсками в Петербурге в первых числах марта. «Пофехтовав» в этой гуще короткое время без успеха, он отпросился обратно в боевую линию на фронт. Там все было много проще, чище и понятнее.

Следующим шагом Керенского, после солдатской ответной радиограммы «мятежного генерала», было объявить самого себя Верховным Главнокомандующим и арестовать Корнилова.

Все произошло как раз обратно тому, чего добивался Корнилов и что могло вывести страну из революционной путаницы.

Вместе с ним были арестованы и заперты в Быхове на р. Днепре его начальник штаба, Лукомский, когда-то мой начальник в Киеве, и Эрдели — мой недавний начальник. На последнего, очевидно, успели донести из Особой армии. Арестованы были и привезены в Быхов также Деникин с Марковым. Группа других генералов была арестована в Бердичеве.

Шел разгром «контрреволюции» по всей линии. Дошла очередь и до меня с Соллогубом.

Притихшие было и обузданные комитеты, комиссары и советы сразу подняли теперь голову. Они занялись охотой на мятежников. Роясь в переписке штабов, нашли две или три телеграммы за моей подписью, в замаскированном содержании которых можно было прочесть между строк распоряжение, продиктованное ожидавшимся «выступлением Корнилова», как окре-

стили его подсеченную на корню патриотическую попытку. Мы с Соллогубом были взяты под подозрение, о нас донесли в учрежденную следственную комиссию в Бердичев, а в ожидании вызова туда для снятия допроса мы очутились в положении поднадзорных.

Под моим окнами всегда маячили дежурные делегаты армейского комитета, и головы их показывались мрачным силуэтом то в одном, то в другом окне. Если мы отправлялись в город или на прогулку, в некотором расстоянии за нами шла пара комитетчиков, поворачивая туда, куда поворачивали мы, останавливаясь неподалеку от наших остановок. Нужно отдать этим «товарищам» справедливость: они соблюдали меру и приличие, и этот «негласный», но совершенно очевидный надзор не был стеснительным.

Кажется, 31 августа или 1 сентября пришла наконец из Бердичева телеграмма, требовавшая нас туда «к ответу».

Поехали мы с Соллогубом в поезде с полным комфортом, предусмотрительно забрав с собою весь наш небольшой багаж. Для нас прицепили отдельный мягкий вагон 2-го класса, в котором поместились мы, наши денщики и вещи.

Мы не рассчитывали вернуться!

На милость победителей пришлось оставить наших верховых лошадей. Впоследствии, когда солдаты принялись ликвидировать фронт, «товарищи» продали этих лошадей и седла в свою пользу.

Поезд отходил поздно вечером. На вокзал, «проводить» начальника штаба армии и его генерал-квартирмейстера, за несколько минут до отхода поезда явилась депутация от армейского комитета. Никто не произносил речей и не проливал слез. Важно было установить, что «контрреволюционеры» фактически отправились по назначению, и протелеграфировать об этом комитетчикам Бердичева. Когда поезд тронулся, один из «товарищей» заглянул, для верности, в окно нашего отделения. «Не сбежали бы в темноте!».

Ф. Ф. Рерберг все эти тревожные дни оставался в стороне, и его не трогали. Вероятно, он пробыл в роли фиктивного командующего армией еще некоторое время, опекаемый умеренным армейским комитетом 11-ой армии.

В Бердичеве мы явились новому Главнокомандующему и в следственную комиссию. Место Деникина — одного из лучших генералов русской армии — занял безличный и до того мало кому известный Ф. Огородников. Боевые и стратегические заслуги начальников, после крушения Корнилова, перестали иметь значение для выбора на высшие должности. В глазах нового военного диктатора Керенского ценились теперь смирные и послушные генералы.

Лично я помнил Огородникова со времени моих ученических лет в Академии. В чине полковника он занимал должность профессора статистики, совмещая ее с какой-то административной должностью в Главном Штабе. Вследствие этого совмещения и природной лени Огородников плохо подготавливался к своим лекциям, а иногда и вовсе не готовился. В последнем случае он выходил из трудного положения, принося с собой им же составленный справочник, по которому он громко прочитывал своим слушателям несколько страниц. Надо думать, что об этих упрощенных профессорских приемах довели до сведения начальника Академии генерала Глазова, и тот явился как-то невзначай в аудиторию, где Огородников должен был читать свою очередную лекцию. Точно на заказ, Огородников совершенно к ней не подготовился, что нам всем, а также Глазову, сделалось ясным после первых же слов смутившегося и растерявшегося лектора. Живое помню, что тема была — военно-географический анализ австро-венгерского театра войны. Читать по книжке Огородников не смел, и нес бессвязную ерунду, заплетаясь, краснея и бледнея и тыкая указкой невпопад в большую карту Австро-Венгрии. Его было жалко!

После этого случая Огородников недолго оставался профессором.

Теперь, печальною осенью 1917 года насмешливый рок поставил его во главе фронта, нацеленного на Австро-Венгрию. Однако проверить свои бывшие познания об этом театре Огородникову не пришлось. Большевики позаботились об этом.

Председателем следственной комиссии состоял генерал военно-судебного ведомства Батог, которого я тоже слегка знал. Следователи, — их было много за длинным столом в какой-то зале, полной всякого наро-

да в защитных формах, — предъявили нам с Соллогу-бом телеграммы, о которых я упомянул выше. Так как содержание их ничего не выдавало явно, то нам не трудно было объяснить их обыкновенными мотивами служебной рутины. Затем, в течение нескольких дней нас вызывали для ответов на разные казуистические вопросы и заставляли писать письменные показания.

Изумительно было то, что оба мы были оставлены на свободе и, хотя жили в городе врозь (нарочно), имели полную возможность сговариваться, чтобы наши показания не противоречили.

В ожидании решения комиссии мы не без тревожного предчувствия посматривали на белое отдельное здание вне города, на горе, в котором содержались в заключении пленники Керенского *).

Но судьба к нам благоволила : мы были оправданы.

Штаб фронта объявил затем, что нет препятствий к нашему возвращению на свои места в штаб 11-ой армии или, в случае нежелания, — к получению соответствующих новых назначений.

В вакансиях всякого рода недостатка не было : снова водворилась власть комитетов, которые забирали с каждым днем все большую силу и браковали без устали командный состав, вынося генералам и офицерам « недоверие ». Лучшие начальники уходили; на их место становились второстепенные, но податливые.

Я пробыл в должности начальника штаба армии четыре месяца и пережил четырех командиров. За июньские бои Эрдели представил меня к ордену и звезде св. Владимира 2 ст. с мечами, минуя Станислава и Анну. Но ни этой большой звезды, ни маленькой третьей звездочки на погоны, причитавшейся мне по должности, не пришлось увидеть : события слишком быстро шли под уклон и из-за горизонта всходила над Россией уже новая звезда — кроваво-красная, пятиконечная.

Мне предложили корпус.

Принимать его в условиях развала, восстановлен-

*) Впоследствии эту группу арестованных « Корниловцев » перевели в Быхов. Когда их вели днем посередине улицы через город на вокзал, толпа подвергла их оскорблениям и насилиям. В них плевали и бросали камнями.

ного Керенским, не представлялось заманчивым. Все на фронте, войска и штабы, люди и вещи, как-то сразу полиняли и перестали иметь вид настоящего. Сколько еще времени могла продолжиться явная агония армии, сказать тогда было трудно. Но только крайние оптимисты могли еще верить в «продолжение войны до победоносного конца» в этой обстановке безделья, преследований командного состава и нескончаемых препирательств.

В первых числах сентября, между тем, Военная Академия, в лице ее нового выборного начальника А. И. Андогского, стремилась войти в связь со старым учебным персоналом. В течение года она функционировала в виде скорее сокращенных высших курсов при случайном подборе преподавателей. С осени 1917 года собирались открыть занятия в широком масштабе довоенного времени. Для этого нужно было привлечь прежних профессоров и преподавателей.

Зная о предпринимавшихся шагах в этом направлении, я решил соединиться из Бердичева с Андогским по прямому проводу и предложить свои услуги.

Младший мой сослуживец по Академии Андогский, случайно, благодаря Керенскому, выскочивший в ее начальники, встретил мое предложение с энтузиазмом. В несколько минут дело было решено. Я возвращался в Академию ординарным профессором, и приказ, сказал мне Андогский, «последует через два-три дня».

Так оно и случилось.

Соллогуб тоже не пожелал остаться на фронте и решил вместе со мной ехать в Петербург, где рассчитывал получить то или иное назначение.

Ехали туда же бывший командующий 7-ой армией генерал Селивачев со своим начальником штаба графом Каменским — оба отставленные.

Благодаря связям в штабе фронта нам удалось раздобыть отдельный вагон-микст 2-го и 3-го класса, который прицепили к поезду и предоставили в наше полное распоряжение. Мы отлично в нем устроились со своими денщиками и всем своим полевым багажом.

Итак, война кончилась для меня в том самом Бердичеве, в котором она началась три года тому назад. В эти годы я побывал в Галиции, доходил до Карпат и до Кракова, бился со своими Козловцами под фортами

Перемышля; перебросился на север, в Привислинский край, под Ломжу и потом — к Холму, на подступах к которому отразил с Измайловцами под Красноставом атаку прусской гвардии; отсюда, с боями, через Брест-Литовск к Вильне; передышка на позициях под Сморгонью; зима снова в Галиции; маршировка и перевозка с остановками снова на север — к Режице, на подступы к Пскову и Петербургу; пешком на юг, к Молодечно, и оттуда под Луцк; попал в третий раз в Галицию, под Тарнополь... И, наконец, далее через Воынь и Подолию — в Бердичев...

Круг завершился после всего этого калейдоскопа у разбитого корыта...

Ехали мы до Петербурга благополучно, хотя и медленно, с пересадками, которые для нас, однако, были только перецепками и не нарушали нашего дорожного комфорта. Денщики бегали на станциях за кипятком к чаю; отвоевавшие генералы закусывали, пили чай и вспоминали «дни, где вместе рубились они».

Примерно на полпути мы даже включили в свою компанию женский элемент, согласившись принять в наш вагон двух молодых дам, из которых одна была певицей и хорошей знакомой измайловского офицера.

В Петербурге для каждого из нас должна была открыться новая глава жизни.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
В штабе Юго-Западного фронта	5
Командование 123-м пехотным Козловским полком	17
Начальник штаба 31-ой пехотной дивизии	67
Командование лейб-гвардии Измайловским полком	87
Генерал-квартирмейстерство в штабе Особой армии	113
Начальник штаба 11-ой армии	172

ЗЕМЕЧЕННЫЕ В ТОМЕ I ОПЕЧАТКИ

стр. 14, 13-я строка сверху, напечатано « аттестацию », следует читать « АТТЕСТАЦИИ »

стр. 22, 2-я строка снизу, напечатано « Хайчаном », следует читать « ХАЙЧЕНОМ »

стр. 115, 5-я строка снизу, напечатано « жинзь », следует читать « ЖИЗНЬ »

стр. 271, 17-я строка сверху, напечатано « В. В. Каменского », следует читать « В. А. КАМЕНСКОГО »

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL



RARE BOOK COLLECTION

The André Savine Collection

DK254

.G48

A32

t.2

